

РАСКОЛЬНИКОВ КАК ЖЕРТВА ИДЕИ ГУМАНИЗМА

/анализ романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"/

Адам Фейер

I. К постановке вопроса

"Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми", /VIII. 13/ -- мучительно размышляет герой Толстого, Левин, в "Анне Карениной", осознав значение не создаваемой умом и непостижимой для ума традиции. Если принять во внимание, что эти слова произносит такой человек, который, спасаясь от тяготеющих над ним противоречий, и пытаясь избежать судьбы трагической героини романа, Анны, отказался, "урезав" себя, обращаться к самодовлеющему разуму, склонному выступать против традиции, то мы получим то неразрешимое противоречие интеллекта и традиции, которое является основной проблемой русского классического романа, его специфической особенностью с точки зрения истории развития мысли. С той же проблемой мы встречаемся и в диалоге Ивана Карамазова с Чертом, когда этот искуситель, насмехаясь над абсурдностью мышления, приписывающего разуму исключительную роль, и мучая человека, который уже не может верить в идеи гуманизма, но еще не способен освободиться от их притягательности, иронически называет традицию "всемирной человеческой привычкой за семь тысяч лет"./XI. 10/.

Традиция является определенного рода опытом, накапливавшимся на протяжении жизни сообществ людей, и наследовавшимся от предшествующих поколений теми, кто следовал за ними. Од-

нако, когда мы говорим об опыте, мы не имеем в виду тот познавательный опыт, которым оперирует философия, так как опыт, сохраненный в традиции, являясь трансцендентным для разума, не может быть интеллектуализирован. Как это выясняет для себя Левин, "...знание... не может быть объяснено разумом - оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий" /VIII. 12/. Неразрешимость противоречия между интеллектом и традицией стала предметом интеллектуального освещения примерно в середине прошлого столетия, превратившись в проблему, возникающую в самых разных областях духовной жизни. Результатом этого процесса можно считать и тот факт, что, начиная с середины XIX в., создание закрытых, единых мирообъясняющих систем, подобных гегелевской, теряет свою актуальность.

За прошедшее с тех пор время, в течение почти полутора-ста лет интеллект чувствовал и в определенной мере научился соблюдать свои границы, однако до сих пор ему не удалось освободиться от одностороннего интеллектуального подхода к так называемым вечным вопросам, а именно -- к вопросам бытия; до сих пор он не решился на то, чтобы считать двойственность интеллекта и традиции и вытекающее из нее ограничение роли интеллекта нормальными, осмысленными, обусловленными самой природой бытия явлениями. Ощутимость в нашем мышлении противоречивости интеллекта и традиции, имеющая место вот уже полтора столетия, не привела к осознанию этого фактора, к рефлексии, и таким образом эта противоречивость осмыслялась не в ее настоящей сущности, а оценивалась в духе норм, выдвигаемых интеллектом, как кризисное явление. С точки зрения преодоления кризиса представилось уместным квалифицировать трансцендентную по отношению к, в сущности, рациональному интеллекту и безусловно равноценную с ним /так как подобно ему являющуюся проводником бытия/ традицию как опыт бытия.

Критическая система Канта, которая и вообще была направлена на то, чтобы исключить раз и навсегда данные метафизи-

ческие решения, дает возможность квалифицировать традицию как опыт бытия, оставляет такую возможность открытой. Кант, который означил место синтетического единства, делающего возможным аналитическое, научное мышление, означил место изначального единства в "темных глубинах" воображения, в одно и то же время указал как на безусловную необходимость считаться с интеллектом, так и на то, что аналитический подход для такого мышления, которое производит операции лишь с познавательной, лишь с интеллектуальной точки зрения, не считаясь с традицией, не обосновываемой интеллектуальным путем, совершенно невозможен. Позитивный смысл, историческое значение так называемого агностицизма Канта нужно искать в том его признании, согласно которому любые попытки интеллектуализировать переданный в традиции опыт бытия по самой сути вещей бессмысленны. Во избежание нежелательных крайностей сциентизма и традиционализма безусловно необходимо аналитическое, критическое соединение в равной мере способных служить проводниками бытия, а также в равной мере необходимых для этого, интеллекта и традиции, и с точки зрения кантовской проблематики воображение представляется той точкой, оправляясь от которой традицию, вовлеченную в круг интеллектуального видения, можно заставить "заговорить" без каких-либо догматических ограничений или иррациональных увлечений, а интеллектуальный анализ за счет традиции сделать содержательным.

Гегель, выводящий исторический принцип из метафизики, несмотря на использование им многих элементов традиции и на определенное уважение к ней, в сущности остается в пределах абсолютизирующей значение интеллекта метафизики, поскольку он не рефлексировал на самозаконность традиции и помещает всю культурную сокровищницу истории мысли между полюсами относящегося к силе воображения синтетического единства и достигаемого понятийным путем аналитического единства, между полюсами единства начала и единства конца, то есть, если вос-

пользоваться определением самого Гегеля, заключает ее в схему духа, самого себя познающего.

Начинание же Хейдеггера, стремящегося сделать содержательным понятие бытия -- это конечное понятие пытающейся интеллектуально охватить все вещи и проблемы метафизики --, ставшее однако уже явно "пустым" из-за своей универсальности, может быть осмыслено как значительный шаг к признанию роли традиции, имеющей самостоятельный принцип действия по сравнению с интеллектом, поскольку он наряду с размышлением о бытии, наряду с рационалистическим выводением понятия бытия, выдвинул проблему предварительного понимания бытия, его видения, то есть в конечном итоге подготовил освещение такого явления, как опыт бытия. Однако Хейдеггер не установил тождества между опытом бытия и традицией, в конечном итоге и он остался в пределах абсолютизирующей роль интеллекта метафизики, так как в результате иллюзий, питаемых им по отношению к эмпирическим формам познания, он критикует не интеллект как таковой, а лишь объективирующее, рациональное познание, то есть считает видение бытия, предварительное его понимание, и в конце концов сам опыт бытия интеллектуальными по природе и потому полагает, что задача наполнения содержания понятия бытия может быть решена интеллектуальным путем. Хотя создатель фундаментальной онтологии, как бы осмысляя свое достижение, в дальнейшем ощутил и глубоко пережил недостаточность интеллекта с точки зрения усилий, прилагаемых для превращения бытия в аутентичное, а также увидел, что и самому бытию грозит направленное на него бесформенное интеллектуальное усилие /по необходимости бессмысленное "слово" о нем/, и, выражая желание оградить себя от такого поведения, предложил, как он выразился, "перечеркнуть" бытие, он все же, оставшись при своих прежних предпосылках, не попытался раскрыть причину своей неудачи.

Ощутимый в мышлении новейшего времени опыт противоречия

между интеллектом и традицией, задача согласования нашего поведения с изменившимся проблемным положением, требуют, чтобы, как следствие признания традиции трансцендентой, опыта бытия независимым от интеллекта, мы считали неаутентичность бытия, находящуюся за пределами действительности личностных и индивидуальных норм практику, постоянным "фоном" нашего мышления и поведения, так как достижение аутентичности бытия по самой природе вещей не может быть осмысленной целью наших усилий, несмотря на всю желательность ее осуществления. Если мы владеем возможностями, данными интеллектом, указывающим на бытие, и традицией, являющейся проводником бытия, то, несмотря на отказ от попыток превратить бытие в аутентичное, несмотря на вынужденное признание власти практики, нам не нужно отказываться от ценностных устремлений, ведь наше поведение именно за счет признания границ наших личностных и индивидуальных возможностей становится аутентичным. Историческая, эсхатологическая цель превращения бытия в аутентичное, с одной стороны, и забота каждого человека в каждое мгновение бытия об аутентичности своего поведения, с другой стороны, -- два таких запроса, такое двойное требование, от ясного и определенного разделения которых мы не можем отказаться вслед за признанием противоречия между интеллектом и традицией. В смешении этих двух запросов мы видим действительную причину дезориентации в гуманных проблемах новейшего времени.

Когда две тысячи лет тому назад еврейская культура и культура эллинизма открылись друг для друга, и, означая начало новой эры в истории развития мысли, проблема соглашения между интеллектом и традицией оказалась вовлеченной в личностно-индивидуальную сферу, то, при отсутствии разработанных в будущем и исторически заранее не обеспеченных условий, не могло быть и речи об освещении проблемного положения в целом, и таким образом не могло быть и указаний на то, что

вопросы бытия должны взвешиваться в индивидуально-личностной сфере в каждой конкретной ситуации. Для выполнения требования отделения аутентичного поведения от аутентичности бытия и невозможности приведения их в какое-либо соотношение друг с другом нужно было найти такое более или менее приемлемое для всех соглашение, такое религиозное решение, которое могло бы ориентировать людей, не способных разобраться в своих проблемах, которое бы поддерживало их веру в осмысленность их личностных усилий. Поскольку вопрос не мог быть решен принципиально, не было и возможности на данном этапе истории развития мысли удовлетворить двойное требование формирования аутентичного поведения и превращения бытия в аутентичное с универсальной полнотой, приняв обе точки зрения к сведению в одинаковой мере, и потому, несмотря на понятное и само по себе похвальное стремление к универсальности, найти действительно универсальное религиозное решение не удалось, да и не могло удасться. Новая христианская религия предложила "спасенному" человеку заманчивые возможности аутентичного поведения, но, считая мистерию искупления единым процессом, в котором грехи искупаются путем страдания, воплощенного в образе богочеловека, вновь грядущего в мир, когда исполнятся сроки и времена, она слила задачу превращения бытия в аутентичное с задачей аутентичного поведения, или по крайней мере не смогла в конечном итоге обеспечить с полной последовательностью их ясного отделения друг от друга. Мысль же "не спасенного" еврейства, чтобы сохранить истину о сущностной неаутентичности бытия, в этой изменившейся ситуации в истории развития мысли -- в определенной мере идя в разрез со своими прежними устремлениями -- оказалась неспособной в должной мере оценить усилия, сделанные в целях формирования аутентичного поведения.

На ясном и определенном отделении требования аутентичного поведения от требования превращения бытия в аутентичное основывается до сих пор вовсе не последовательно осуществляю-

щееся различие между преступлением, моральным заблуждением, с одной стороны, и грехом, с другой стороны. Совершение или избежание этической ошибки, преступления, есть функция личностного, индивидуального решения человека: высоко моральный человек, принимающий всегда правильные решения, может быть совершенно свободным от моральных ошибок, в принципе существует возможность морального совершенства человека. Грех же, который является следствием неаутентичности бытия, в полной мере находится за пределами личностно-индивидуальных моральных усилий, по своей сущности он "первороден", и человек поступает правильно лишь в том случае, если, сдерживая свой моральный пафос и не теряя надежды на грядущее превращение бытия в аутентичное, он разделяет с другими людьми, со своими ближними, общую для всех греховность, если он, беря на себя личную ответственность за превышающие личностные возможности факторы, признает свою сопричастность к "грехам" исторического человечества.

Если нравственный человек, отвергнув меру, целью своих моральных устремлений считает достижение относящейся к бытию полноты, то есть рассчитывает на личностно-индивидуальное преодоление греха, он совершает трагическую ошибку. Трагическая ошибка, трагическая вина, в конечном итоге является нарушающим порядок вещей титаническим усилием, которое лишь последующим признанием незаконности такого начинания, последующим уважением к природе самого миропорядка, последующим катарсисом, спасается от погружения в "Тартар" бесформенности. Считая достижение полноты возможным и приносящий этой цели в жертву свою жизнь гуманизм, до конца идущий по своему пути, -- всегда фигура трагическая; представляя добродетель, а затем через катарсис de facto принимая к сведению власть греха, он терпит крах из-за проблематичности в истории развития мысли разделения двойного требования аутентичности поведения и

аутентичности бытия, становится трагическим героем неразрешенности этой проблемы.

Страх и трепет, внушенные трагической судьбой героя, "снимаются", а смысл трагедии объясняется тем, что человек, гуманист, выступая от лица всего человечества, на самом деле в противовес своей программе, своему субъективному намерению, представляет тех немногих людей, которые именно в силу своего безусловного личного индивидуального совершенства, но одновременно и являясь пленниками этого совершенства /если рассматривать их выступление в перспективе истории развития мысли и с точки зрения трагической полноты гуманных проблем/, считают, что задачи формирования аутентичного поведения и достижения аутентичности бытия могут быть соединены друг с другом, так как невозможность универсального соединения этих двух требований выходит за пределы их непосредственного личностно-индивидуального опыта. Действительный урон, наносимый трагической виной и расплатой за нее, справедливость трагического падения, самым непосредственным образом демонстрирует судьба волюнтариста -- человека, который попал в круг притяжения идеи гуманизма, но не по своей вине не может в нее верить. Интеллектуальный горизонт волюнтариста ограничен гуманистическим мышлением, то есть и он стремится обеспечить аутентичность бытия путем личностных усилий, и потому, подобно гуманистам, и он считает обязательной для себя такую программу, которая выступает с запросом универсальности. В то же время, поскольку он, в отличие от гуманиста, заранее ощущает непреодолимую двойственность сферы поведения и сферы бытия, он в конечном итоге не верит в принятые им идеи и ввиду этого безверия, прилагая отчаянные, чудовищные усилия, вопреки своему желанию позорит представляемую им программу. Если верующий, убежденный гуманист выступает как герой идеи, чей трагический крах все же возвышает его, то неверующий волюнтарист,

соблазненный "пением сирен", обрекающий себя на трагикомическую роль, является несчастной жертвой идеи гуманизма, чья жалкая судьба ложится на совесть павшего под ударами рока героя.

Вынужденная жертва волюнтариста должна оцениваться, однако, не только с позиции и в своем падении осуществляющего себя, "умирающего своей собственной смертью", гуманиста, не только с точки зрения гуманизма, но и с точки зрения по новой формулируемой в свете необходимости разделения аутентичности поведения и аутентичности бытия -- ощущаемой как результат осознания кризиса идеи гуманизма -- гуманистической программы. Позорящая идею, демонстрирующая ее недостаточность, судьба волюнтариста неопровержимо доказывает, что столь желанная универсальность, от которой ни в коем случае нельзя отказаться, не достижима за счет личностно-индивидуальных ценностей, что человечество может быть единым не в добродетели, а лишь в грехе, при условии, что грех оно примет должным образом: с самым полным уважением к добродетели и в надежде на будущее превращение бытия в аутентичное, то есть с полным признанием своей вины.

В результате опыта, признавшего противоречивость интеллекта и традиции, коренным образом изменились условия их примирения. Если прежде, в духе действующих метафизических конвенций, значение интеллекта представлялось монопольным, и пока интеллект мог беспрепятственно удовлетворять эту свою потребность, в обществе, действующим в сущности в духе религиозных норм под благой видимостью, созданной актуальными формами мышления, традиция спонтанно и без особых препятствий оказывала свое необходимое с точки зрения нормального формирования феномена человечности влияние. Когда же интеллект необъяснимым для самого себя образом встретился с противостоящей

ему традицией, он поставил под угрозу гармоническое проявление чуждого ему, отличного от него фактора и продолжал быть угрозой для него и тогда, когда, увидев бессмысленность насильственного представительства своих запросов, он критически -- самокритично -- начал стремиться к соблюдению своих границ, поскольку один лишь интеллект, без позитивного признания трансцендентной по отношению к нему традиции не может заботиться о соблюдении своих границ именно из-за относительности ее действия. В то же время столкновение традиции с интеллектом, ощущение самостоятельного круга деятельности, вызвало замешательство и внутри традиции -- которая вследствие такого осознания превратилась в конвенцию -- и привело к рождению таких представлений, будто традиция должна искусственно, в ущерб интеллекту, минуя ясное интеллектуальное видение, прилагая какие-то особые усилия, заботиться об осуществлении своих запросов.

При сложившемся в середине прошлого столетия и с тех пор все более и более дифференцирующемся, все более и более раскрывающемся с разных сторон положении стало необходимым найти новый, отличный от всех прежних, способ примирения интеллекта и традиции, найти новые основы их связи. Поскольку, с одной стороны, выяснилось, что индивидуум, обладающий проблемным сознанием, может взять на себя ответственность лишь за свой интеллектуальный потенциал, за свой запрос полноты, а за познавательные усилия, имеющие практические цели, он ни в коем случае брать на себя ответственность не должен, с другой же стороны, стало очевидным, что теперь хранить традицию, должным образом беречь ее, способен не накапливающий ее социум, а принимающая сознание идентичности, обладающая переживанием полноты, но признающая относительность своих обычаев по отношению ко всему бытию и потому способная и склонная

совместить их с интеллектуальным запросом полноты личности, в истории развития мысли сложились условия для свободного от всяких конвенциональных, официально учрежденных ограничений, совершенно суверенного подхода к личностно-индивидуальным проблемам. Признавший и принявший задачу объединения интеллектуального запроса полноты и личностного сознания идентичности, переданного традицией переживания полноты, человек может стать автономным независимо от счастливого или несчастливостечения обстоятельств, может быть действительно морально свободным от принуждения практики, если он примет к сведению неаутентичность бытия и не будет считать свою моральную автономию идеей, способной формировать практику.

Разумеется, выполняя задачу примирения интеллектуального запроса полноты и личностной идентичности, задачу формирования аутентичного поведения, каждый человек, уединенно делающий это, не может полагаться лишь на свой личностно-индивидуальный опыт. Возникшие в различные периоды, созданные разными культурами и сохраненные ими как ценности религиозные, философские и художественные тексты, помимо их прямого назначения, -- несмотря на относительные различия -- по существу все ищут модусы примирения интеллекта и традиции и могут рассматриваться как усилия, направленные на формирование аутентичного поведения. "Осмысленность" этих текстов и их соотносимость друг с другом как раз и указывают на то, что в каждом из них мы должны видеть в своем роде единственный и в конечном итоге неповторимый документ опыта бытия, а также какого-либо умозаключения о бытии. На данном этапе истории развития мысли нашей задачей является осмысление этих текстов, то есть аналитическое освещение вопросов о том, с какими шансами на успех, в каком направлении протекает в них борьба за выработку аутентичного поведения, а также -- каким образом и в какой мере отдельные тексты могут быть вовлечены в решение личностных проблем каж-

дого отдельного человека. В свете именно так сформулированного задания русский классический роман получает особую роль: поскольку он, с одной стороны, непосредственно дает почувствовать неразрешимое противоречие традиции и интеллекта, а, с другой стороны, не отказывается от попыток справиться с этой неразрешимой проблемой, он может служить отправной точкой приложения усилий, направленных на достоверность интерпретации текста.

II. Анализ романа

Раскольников, безусловно, автономное существо: это человек, который, как правило, знает, что нужно сделать, и у которого есть сила действовать согласно своему убеждению. Он знает, например, что девочке, которую напоили, бредущей в измятом платье по улице города, нужно помочь, и, несмотря на собственную нищету, на свой далеко не внушающий доверия внешний вид, находит способ доставить несчастную в безопасное место, освободить ее от угрожающего ей преследования. Как действительно он разрушает связанные с женитьбой на его сестре, Дуне, планы Лужина, считающего свою позицию неуязвимой, или разоблачает интригу, которая должна унижить Соню и опосредованно скомпрометировать его самого! Хотя собственное его положение ужасно, хотя он измучен сомнениями, он, с возмущением человека, обладающего цельным моральным чувством, отвергает сообщничество с пытающимся низвести его до себя Свидригайловым, одновременно пресекая и расчеты последнего на то, что ему удастся заполучить Дуню через брата. И не доказательство ли автономии тот факт, что, отделив себя в конечном итоге от своего ничем не оправдываемого действия, он идет в полицию, несмотря на позор и на уготованное ему страдание? В конечном итоге только необъяснимое убийство старухи-процентщицы не может считаться поступком автономного человека, обладающего идентифицирующим сознанием, способного ориентироваться в мире.

Если мы проанализируем те положение, в которых Раскольников выносит решения со всей ответственностью, и сравним их с тем, в котором он теряет способность к моральной ориентации, мы увидим, что первые ситуации спонтанно создаются жизнью, и в них, за счет них, Раскольников вступает в личные связи с заинтересованными в данном случае лицами, последняя же ситуация искусственно продуцируется им самим, и в этом случае

он, полагаясь на произвольную игру интеллекта, делает себя единственным действующим лицом, а всех остальных участников -- тех, кто необходим для выполнения его плана, своих несчастных жертв -- безжалостно овеществляет. В действительных ситуациях, созданных повседневной жизнью, условия автономности для него, как видно, всегда даны, и если он сумеет использовать открывающиеся возможности, он сможет сохранить свою моральную целостность. Человек, направляющий усилия на сохранение автономности, никогда не остается в одиночестве: в свете концепции Достоевского и в самых богом забытых углах, среди самого нищенского существования находятся люди, которые, даже если они сами и не могут справиться со своим моральным заданием, все же очень по-человечески предъявляют к другим определенные чувственные и материальные требования, за выполнение которых, как за лично к ним обращенный жест, они всегда платят сторицей. Проявляющиеся в личностных отношениях, свободные от практических интересов, чистое чувство, чистая деятельность, наряду с индивидуально овладеваемым человеком чистым разумом, в должной мере ориентируют того, кто желает сохранить свою автономность.

Однако человек, обладающий, подобно Раскольникову, интеллектуальной силой, и потому стремящийся охватить гуманную проблематику в целом, несмотря на автономность своего существа, в романном мире Достоевского не может не почувствовать существования пласта непроницаемой для морали практики и внутри нее -- границы автономии, границы моральной сферы. В то время как жизнь для носителя переживания полноты и запроса полноты, то есть для воплоционера определенных индивидуальных и личностных качеств индивидуума, несмотря на всю ее ложь и бесформенность, оставляет открытыми возможности автономности, практика, как сфера действия рационализованной экономики и

официально учрежденной власти, безличного интеллекта и столь же безличной традиции, до тех пор, пока не будут открыты способы сосуществования с ней, пока не будут найдены нормы аутентичного поведения, и в случае максимальных моральных усилий может поставить под вопрос возможность моральной целостности человека. Интеллектуализм мышления Раскольникова, отрицание им традиции препятствуют ему надлежащим образом осмыслить новый опыт -- ощущение власти практики. Поскольку он придерживается конвенций мышления нового времени, но в то же время ощущает границы действительности конвенциональности, его поведение становится противоречивым, непоследовательным. С одной стороны, он с интеллектуальной дисциплинированностью учебного признает в своей теории практику, как несомненную предметную данность, которая, как это кажется, парализует моральную сущность человека; с другой же стороны, понуждаемый подавленным запросом осмысленности, нарушая предписания своей теории, он восстает против практики, когда, будучи "слабым" человеком, будучи лишенным возможности осмысленной деятельности, он все же берется за дело так, будто по-прежнему остается в силе его убеждение в безусловной осмысленности познания, в личностности позвательных целей.

В противовес Раскольникову его друг, Разумихин, абсолютизирует значение автономности. По мнению честного Разумихина условия для построения оптимистической картины мира всем заранее даны, и поскольку личность и индивидуум в его взглядах естественным образом совпадают, нет никакой необходимости ни в уединенных безнадежных усилиях, ни в осторожном, обдуманном ограничении личностных связей. Поэтому, если не принимать в расчет таких людей, как Лужин или Свидригайлов, которые сознательно и упорно отвергают моральные нормы, то мы увидим, что весь мир состоит только из приятных и хороших людей /как он говорит -- из людей "честных"/, для которых упорядочение личностных проблем -- лишь вопрос времени. Отсюда -- уверен-

ное спокойствие, с которым он выслушивает встречающихся на его пути негодяев, и великодушное снисхождение, которым он награждает любого запутавшегося в вопросах жизни человека. Кто думает, как он, тот разумеется общителен, сердечен, дружелюбен. Без всяких колебаний он, например, устанавливает теплые личные отношения с такими угнетающими Раскольникова людьми, как подозрительная и доносящая на своего жильца квартирная хозяйка, или как вечно принимающий взятки полицейский чиновник Заметов. Если автономность является имеющим универсальное значение регулятивным законом, то существует лишь яркая, подвижная, хотя и часто ставящая человека перед серьезными испытаниями, жизнь, но нет тающей в себе опасность духовной, душевной деградации безличной практики, действие которой открывает Раскольников, и против которой, не находя способов ее толеранции, он восстает. Не случайно любимый девиз Разумихина -- "деловитость" и характерно, что его вызывающие симпатию находчивость, уверенность никогда не превращаются в сухую расчетливую практичность, ведь он всегда думает о людях, и цели его чисты, личностны. Но странным образом, цена за сохранение этих привлекательных качеств -- интеллектуальная ограниченность: заботясь об обеспечении своего друга всем необходимым, он и не подозревает о мучениях Раскольникова, не знает о тех безднах человеческого существования, которые доводят его друга до отчаяния.

Не Раскольников, а Мармеладов является лишенным автономии существом, репрезентирующим в романе тот пласт человеческой проблематики, о котором не знает Разумихин. Жалкая фигура чиновника и его потрясающая судьба подтверждают с элементарной силой, что не всегда достаточно хотеть добра, что сохранение моральной целостности зависит и от факторов, лежащих за

пределами моральных возможностей индивидуума, и что все же человек, сохранивший моральное чувство, должен принять на себя всю ответственность, страдать от того, что в безнадежной для него борьбе он оказался слабым. Мармеладов, безусловно, менее приспособлен к жизни, чем Разумихин, который может прожить и на северном полюсе, но он -- так же как и его жена, Катерина Ивановна, с ее романтической судьбой, или дочь, Соня, живущая особенно глубокой душевной жизнью -- обладает гораздо более богатой фантазией по сравнению с последним, как об этом свидетельствует монолог в распивочной, указывающий на его литературно-философские наклонности. По всей вероятности, именно романтические элементы его воображения, своеобразная фантастичность не позволяют ему в тяжелое время жизненных испытаний, сообразуясь со здравым смыслом, направить свою энергию на то, чтобы выжить. Для таких людей, как он, есть вещи /как для Катерины Ивановны бал у губернатора, или полученные от Сони вышитые воротнички/, от которых они ни за что не могут отказаться, без которых жизнь теряет для них смысл, отсутствие которых лишает их внутренней устойчивости. Речь идет не просто о материальных благах, а об овеществленных формах культуры, пользование которыми, внедрение их в жизнь является, помимо заботы о создании необходимых условий для жизни, человеческой задачей, неотторжимой от их существа, но выполнение которой все же -- из-за социальных ограничений в сложившихся неблагоприятных условиях -- подчиняет их безличной практике, бесчувственному к гуманным нормам миру вещей. Семью Мармеладовых губит не просто нищета, а неожиданное и быстрое изменение их материального и общественного положения, то страдание, которое причиняет им невыносимая -- ввиду произвольности и бессмысленности -- неосуществимость их запросов. Было бы глупо и бесчеловечно трактовать трагикомедию Мармеладовых исключительно с узко моралистической точки зрения, искать в их поведении моральной

вины, объясняющей утрату автономии. Именно об узости мышления Мармеладова свидетельствует то, что он упрямо только это и делает, что большего от него нельзя требовать, что для него единственным возможным способом сохранения последней искры сознания идентичности является никуда не ведущее, разъедающее самобичевание. Интересно отметить, что кажущийся безупречным с точки зрения морали Разумихин и утративший автономность Мармеладов одинаково не видят разницы между личностным переживанием цельности и индивидуальным запросом полноты. Но в то время как Разумихину, не признающему практики и безусловно полагающемуся на жизнь, это ничем не грозит, Мармеладову, ощущающему границы автономии, приходится признать себя слабым потому, что он не сделал особого интеллектуального усилия, и не будучи в состоянии уже ничего предпринять полагаясь на себя, он вынужден обратиться как к последней опоре своей распадающейся личности лишь к милосердию божьему.

Раскольников же, переживания которого во многом похожи на переживания Мармеладова, не могут сломить удары судьбы, так как в двойственности личностного переживания цельности и индивидуального запроса полноты широта его интеллектуального кругозора помогает ему преодолеть испытание -- тоску моральной безысходности, превратить свое личное переживание в явление какой-то универсальной значимости и таким образом сделать свою моральную парализованность анализируемой, и, в конечном итоге, возможно, преодолимой.

Ценностные элементы в занимаемой Раскольниковым позиции Достоевский мотивирует не индивидуальными способностями героя, а благотворным влиянием традиции, живущей в его семье, духовными ценностями, передаваемыми родителями детям. Инспирирующая атмосфера домашнего круга еще до пробуждения самосознания и восприятия мира привила ему способность к чувственной и деятельной общности с близкими, к формированию личных связей

и одновременно жажду быть "одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире" /VI. 7/. Если юноша остается верным своему богатому, но несомненно не предполагающему легкого пути наследию, и даже в самые тяжелые моменты жизни не намерен отказаться от него, снизить свои запросы, это, безусловно, его заслуга, но как бы он ни был силен интеллектуально и тверд морально, опыт возможности личностной разрешимости проблем, а также индивидуального представительства проблемного сознания -- то есть сама постановка цели, формулирование задания -- уже не является его заслугой, так как принятие традиции изначально выходит за рамки интеллектуального видения и морального взвешивания. Овладение духовным наследием в целом, его внедрение в действительность в изменяющихся условиях развития истории мысли -- задача, не предназначенная для любящих покой, пассивных, бегущих всего нового людей. Мать Раскольниковы не даром боится, что ее сын попал под влияние "новейшего модного безверья", современного нигилизма; она ошибается только в том, что наивно считает это явление века абсолютно чуждым традиции, легко отделимым от нее. Пульхерия Александровна не подозревает, что привитые сыну импульсы -- личностная автономность и индивидуальный запрос полноты, равновесие которых еще недавно казалось безусловным, теперь, в результате опыта практики сплелись друг с другом в один клубок, и что пугающие, приводящие ее в отчаяние взгляды питаются неупорядоченностью внутри самой традиции, трудностями ее актуализации. Лжерадикализм приверженцев тотального отрицания традиции в конечном итоге основывается на недоразумении: не будучи удовлетворенными прежним пониманием наследия, они по настоящему не могут отнестись к нему по-новому. Если единство интеллекта и традиции больше нельзя считать навсегда абсолютно обеспеченным, то условия их равновесия индивидуум должен искать не в отвлеченной метафизической сфере, а в своей соб-

ственной жизни, в каждом ее отдельном проявлении, следя при этом за неприкосновенностью традиции и отдавая дань требованиям современности. Те же, кто упрямо продолжают искать безусловного, универсального решения ценой жестокого калечения духовного наследия, провозглашая жестокость требованием века, не только идут против традиции, но и одновременно позорят и свой собственный лозунг -- принцип современности. Раскольников, разумеется, интеллектуально не видит этого проблемного положения, но он подготавливает такое видение, когда в своем поведении представляя традицию в целом, он все же испробует псевдорадикальную программу, сформулированную на уровне истории развития мысли своего времени. С помощью опыта, полученного от столкновения гармонического поведения и уродливой программы, герой преодолевает душевную принудительность волюнтаристского акта и тем самым создает предпосылки для уравнишенного, критического приближения к осмыслению проблемы.

Частое заблуждение исследователей "Преступления и наказания" состоит в том, что убийство, совершенное Раскольниковым, воспринимается ими в духе конвенций натуралистического романа, как исключительно социальный, психологический факт. Это ведет к произвольному предположению о том, что герой отказался от представительства духовных ценностей, что в интеллектуальном тупике, сложившемся на данном этапе истории развития мысли, отчаявшийся человек в конце концов закономерно сдается перед натиском невыносимых противоречий. Нет сомнений в том, что принимая фикцию художественного произведения, мы должны читать роман Достоевского так, как будто герой совершил свое страшное дело, тем более, что ведь и сам Раскольников, наделенный обостренной совестью, в результате острого чувственного переживания независимо от самого факта ощущает, что то преступление, которому он не может интеллектуально противостоять, он как бы в действительности уже совершил, да

и автор романа рассчитывает на наше полное отождествление с героем. Но мы должны иметь в виду и то, что в свете катастрофической концепции "Преступления и наказания" парадоксальная проблема преступления не может быть сведена ни к исключительно совершенному в какой-либо конкретной ситуации, уловимому в каких-либо предметных данных действию, ни к исключительно какому-либо относящемуся к сфере субъективности, но наделенному мироздающей силой намерению, и поскольку ни действие не может быть никогда с уверенностью выведено лишь из одного намерения, ни из данного действия невозможно заключить с должной уверенностью о предшествующем исполнению намерении, мы должны видеть феномен преступления, его тайну в интеллектуально неснимаемой двойственности этих противоречий. На это указывает то обстоятельство, что замышляющий и совершающий убийство Раскольников, который, не находя актуальной формы аутентичного поведения, с одной стороны, поскольку он обладает автономией, моральной целостностью своего существа, не может примириться со своим замыслом, а с другой стороны, будучи движимым интеллектуальным запросом цельности, не может отказаться от него, странным образом еще до совершения своего дела, исключительно ввиду злого намерения, питаемого им в душе, считает себя неисправимым преступником, после же приведения своего замысла в исполнение, как бы в награду за абсолютную моральную чувствительность, он, несмотря на совершенное убийство -- почти невероятным образом -- сохраняет моральную чистоту. Анализ парадокса преступления, поставленного в центр натуралистического романа, дает почувствовать, что феномен преступления выходит за пределы сферы личностных усилий человека, что таким образом преступление не является следствием того, что человек не сделал личностных усилий, иначе говоря, что и в случае максимального использования личностных возможностей преступления нельзя избежать, так как оно "первородно", то есть коренится в неаутентичной сущности бытия, в практике.

Принимающий безличное сообщество в грехе со всем страдающим человечеством, но в то же время чувствующий свою индивидуальную ответственность за все человечество, юноша подвергает себя крайним испытаниям. Как об этом свидетельствует сон о загнанной лошади, различные пласты его существа -- ум, чувство и деятельность или выполняющие их функции дух, душа и тело, приходят в столкновение друг с другом. Ум, который при сознательных действиях всегда держит в руках "поводья", в образе буйного извозчика мучает лошадь, то есть принуждаемое к выполнению сознательного намерения тело. Потрясенная распадом единства душа /ребенок Раскольников, наблюдающий жестокую сцену/ молит о пощаде несчастной жертвы, тела /во сне -- лошади/. Поскольку с доводами ума Раскольников считается серьезно, то есть с тем, что он из них принимает, он полностью отождествляется, полагая, что как бы уже осуществил их на деле /что означает, что он мыслит абсолютно идеально/, ему не обязательно подтверждать их на практике; он ощущает мучительное кризисное положение, страдает от тирании ума еще до того, как стать на деле жертвой своего мучителя. Пройдя через кризис, совершив убийство, он получает возможность в качестве вывода из этих хождений по мукам почувствовать пределы ума, который казался ему в его смятении всемогущим, открыть противодействие других факторов личности воображаемому тирану.

Первое удивительное открытие состоит в том, что чувство не полностью подчинено самовластию ума. И не потому, чтобы оно было выше ума, что его права узаконены в таких сферах, которые для ума недостижимы, а как раз наоборот, потому, что оно укоренено в таких глубинах физиологического существования, так погружено в физическую действительность человека, что даже самый тонкий анализ не может его вычлениить из нее, и ум не в состоянии призвать ни к каким законам эту его бесформенную "животность". Феномен анимальной привязанности к жизни для Раскольникова, разумеется, не новость: он уже наблюдал его

на Мармеладове, да и на себе заметил, что "один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря" достаточны для того, чтобы мысли его приняли совсем другой оборот. Но совершенно новым является тот опыт, согласно которому это примитивное переживание в некоторых ситуациях с такой безусловностью, с такой чистой наивностью способно заполнить все существо человека, что он может, если представится возможность, с такой полнотой раствориться в этом чувстве. Элементарная радость, которую испытывает прячущийся убийца, спасший свою жизнь, хотя и очень по-человечески понятна, но, конечно, в ней нет ничего такого, из чего можно было бы заключить о духовной свободе человека. Достоевский очень далек от идеализации этого естественного, животного фактора. Однако, все это нужно для того, чтобы лишить ум его ореола и помочь заблудившемуся человеку в том, чтобы ощущение неразумности любви не представлялось ему доказательством, запрещающим всякую чувственную мотивацию. Рефлексия на непосредственную животную радость, по всей вероятности, сыграла свою роль в том, что Раскольников, который долгое время голодал, ходил в лохмотьях, так как считал излишним заботиться о своем теле, после слабого сопротивления принимает дружеские заботы Разумихина. Честный и деловитый Разумихин, почти ничего не знающий об интеллектуальных проблемах и душевных мучениях Раскольникова, -- тем более подходящая фигура для того, чтобы помочь ему восстановить силы изможденного тела. Возвращение этих сил само по себе не достаточно для того, чтобы герой смог восстановить и духовно-душевное равновесие, но это во всяком случае необходимо, чтобы он мог выиграть место и время для урегулирования своих проблем.

Как по волшебству возникшее укрытие, однако, беспокоит, душит Раскольникова. Радостный мирок, созданный Разумихиным "по своему образу и подобию", начинает возбуждать в Раскольникове такое чувство, будто совершенное им страшное преступ-

ление было просто наваждением, глупым заблуждением; актуальность его планов и проблем в этой новой ситуации свелась на нет. В этом положении неожиданное появление ненавистного и смешного Лужина означает для него настоящее спасение. Фигура Лужина со всеотметающей силой вновь пробуждает в нем то негодование, которое он питал ко всем извлекающим пользу из несправедливостей этого мира. Он вдруг находит в себе решимость, достаточную для того, чтобы оттолкнуть дружескую руку помощи тех, кто в этом малом мире проявляя заботу о нем, со всей очевидностью произнесли бы над ним безжалостный приговор, тех, кто, смущая его, в конечном итоге приводят в исполнение этот справедливый по их мнению приговор, то есть тех, кто для него, для несчастного убийцы, являются "палачами". Такое прояснение положения, вновь найденное обращение к своим проблемам, рассеивает беспокоящую героя неуверенность, мучившую его с того момента, как он пришел в себя после болезни, в неожиданно обрушившейся на него духовной и душевной опустошенности. Его кошмары сразу же прекращаются, им овладевает некое "спокойствие одержимого", сообщающее ему силу и уверенность в себе, и вскоре после ухода гостя он неожиданно для своих друзей покидает дом.

Совершенно очевидно, что интеллектуальная чувствительность Раскольников, его кругозор намного шире, чем у Разумихина; те проблемы, которые вновь возникают для него с приходом Лужина, и которые он, в силу определенных причин, связывает с самим Лужиным, безусловно существуют. В то же время Раскольников, конечно, несправедлив к жениху своей сестры, и его предвзятость не позволяет ему увидеть эту странную фигуру в настоящем свете. Лужин вовсе не тот сильный человек, не тот преступник, которому ничего не стоит перешагнуть через моральный закон, каким его рисует теория Раскольникова -- этот рациональный рецепт устранения всех человеческих бед. Несмотря

на неоспоримую злокозненность и вредоносность этого жалкого шута, он в конце концов и сам бьется в тисках обстоятельств, только если Мармеладовы -- жертвы своей деклассации, то он -- жертва своего быстрого обогащения. Все его существо поражено двойной болезнью парвеню: с одной стороны, он глупо самовлюблен, не способен вернуться к трезвой действительности после своих неожиданных успехов, с другой стороны -- болезненно неуверен, так как знает, что сам он не может соответствовать той роли, которую ему предлагает его материальное и общественное положение, и которой ждет от него его окружение. Его странные взгляды на брак убедительно показывают, что под влиянием разнонаправленных моральных запросов его личность сломилась. Он хочет жениться на умной, красивой и в то же время бедной девушке для того, чтобы возложить личностную задачу объединения своих противоречий, как унижающий, овеществляющий другого человека груз в искусственно созданной принудительной ситуации, на свою жену. Хладнокровная, уничижительная ирония Разумихина, с которой тот относится к странному посетителю, гораздо более пристала положению, чем истерические выпады, оскорбительная грубость Раскольникова. Но если принять во внимание, что в сюжете романа Раскольников должен не столько разоблачить Лужина, сколько уберечь Дуню от брака с ним, то его поведение уже не будет казаться таким необоснованным.

Оживление сознания проблем, пережитое после этой бурной встряски, и уход из дома ведут Раскольникова к новым открытиям, к признанию своеобразного значения сталкивающей людей друг с другом, оплодотворяющей уединенный спиритуальный поиск, жизни, то есть к признанию интеллектуальной неохватимости человеческих отношений. Жизнь -- переходная сфера между личностными, субъективными отношениями и безличной, опредмеченной практикой, открытая в обоих направлениях, обеспечивающая для борющегося за формирование аутентичного поведения человека не-

обходимые для этого возможности, и одновременно таящая в себе тяжелые, иногда роковые, опасности. И если прежде Раскольников считался лишь с безличной практикой, от которой, чтобы избежать опасности овеществления, он должен был спрятаться в свой "шкаф", истощив тело и убив чувства, то теперь он открывает для себя волнения жизни, ее красоты: по необъяснимой для самого себя причине он слушает уличных певцов, вступает в беседу с публичными женщинами и, изголодавшись по новым впечатлениям, пристально всматриваясь в лица, вмешивается в уличную толпу. Негативно он ощутил роль жизни еще в полиции, когда впервые с горечью осознал, что с грузом своей вины он не имеет больше права ни к кому обращаться, ни с кем вступать в беседу, так как одно дело -- с демонической гордостью отказаться от общества людей, как он это сделал раньше, и совсем другое дело -- быть с клеймом позора исключенным из их общества. Ощущение абсолютной отрезанности от жизни было здесь, однако, еще слишком рефлексивно: хотя он и определяет границы своего интеллекта, слово все же здесь еще за интеллектом. Несколько дней отдыха, картофельный суп, присланный хозяйкой, малиновое варенье, пиво и приличное платье, добытое Разумихиным, -- все это нужно как повод, реализующий интеллектуальное признание, как место и время, выигранные для того, чтобы встретиться с жизнью лицом к лицу. Так же, как это было и с непосредственным животным чувством, Достоевский не идеализирует и примитивный "коллективный инстинкт", о чем свидетельствует уж очень прозаический характер мотивов, репрезентирующих жизнь. Раскольников продолжает считать, что человек, жаждущий жить, -- "подлец", так же, как он считал прежде подлецом человека, подчиняющегося практике. Однако, теперь он полагает необходимым несколько уточнить формулировку, и поскольку понятийное отделение жизни от практики с точки зрения героя, чувствующего свою индивидуальную ответственность за достижение аутентич-

ности бытия, не может быть осуществлено, он, удовлетворившись принудительностью парадоксального определения, добавляет: "И подлец тот, кто его за это подлецом называет" /II, 6/. Опыт конфликтной двойственности жизни и практики объясняется то обстоятельство, что Раскольникова, в отличие от абсолютизирующего значения жизни, не имеющего проблем, Разумихина, именно возрождение проблемного сознания, вновь возникшие мучительные дилеммы -- исчезнувшие во время болезни -- , странным образом ведут к жизни.

В результате амбивалентного сосуществования живой радости жизни и мучительного проблемного сознания, питающегося чувством подчиненности практике, в Раскольникове пробуждается страсть к игре, бурная жажда жизни, вспыхивающая в положениях, опасных для человека, подверженного причудам поворотов колеса фортуны. Как настоящий игрок он ведет себя в разговоре с Заметовым -- подозревающим его полицейским чиновником. Все, что он здесь делает и говорит, в сущности есть та же смесь наивной болтливой раздражительности и отчаянного комедиантства, которые уже один раз совершенно неожиданно овладели им перед его болезнью в участке, заставив его тогда устыдиться унижительной двусмысленности своих слов и жестов. Сейчас, однако, он играет свою роль с расчетом, приводя в смущение не столько самого себя, сколько своего партнера. Считать промахом его рискованное предприятие, встав на позицию скрывающегося преступника, было бы таким же заблуждением, как считать ошибкой то, что он, вскоре после убийства, привлекая к себе внимание, возвращается на место преступления. Если он, с одной стороны, с такой осознанностью вступает в безусловно возбуждающий подозрения разговор с Заметовым, а, с другой стороны, балансируя на краю пропасти, все же имеет силу сохранить свою тайну, то для него уже не так важно -- несмотря на нерешенность этого вопроса -- сильный он человек или слабый,

"тварь дрожащая" или "право имеет"; он хочет, не умея назвать прозреваемую им настоящую задачу, найти приемлемую форму аутентичного поведения, найти свое человеческое назначение. Сама по себе не обязательно поэтическая и вовсе не пригодная для того, чтобы сделать человеческое поведение аутентичным, жизнь нужна ему не как самоцель, героя направляет не слепой инстинкт жизни; он "точно цепляется за все" /VI, 6/ потому, что, выйдя из заколдованного круга "математики", "логики", ждет новых импульсов, плодотворных для своего мышления, потому, что хочет найти подходящий случай для решения проблемы, получить необходимые опытные данные. И если он чувствует, что "все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного..." /II, 6/, то это значит, что речь идет не просто о жажде жизни; опосредованно это внушает уверенность в том, что он может спокойно принимать скромные подарки от жизни, так как его, измученного проблемами юношу, одно лишь существование все равно никогда не сможет удовлетворить. Раскольников, который считает, что отказ от жизни, самоубийство постыдно, "и всего стыднее, что очень уж глупо" /II, 6/, отдавая себя потоку жизни, никогда не примирится с глупостью бессознательного существования.

Жизненная случайность создает такую ситуацию, при которой бродящий по улицам юноша становится свидетелем гибели Мармеладова и единственной опорой его осиротевшей семьи, ее благодетелем. Неожиданное потрясающее впечатление и теперь таит для него возможность важных, заранее не предвиденных заключений. Если знакомство с Лужиным подтверждает его мнение о том, что мир, как он есть, ни в коем случае не может быть приемлем, то жалкая смерть Мармеладова оправдывает его предчувствие, согласно которому бунт для него, для пронзенного сознанием неразрешимости проблем человека, был как бы

обязанностью по отношению к самому себе, протестом против подчиненности практике. Объяснением его повышенного личного интереса в данном случае служит то обстоятельство, что в этом, закончившемся на его глазах, жалком жизненном пути он видит какую-то и ему угрожавшую, но счастливо избегнутую опасность. Поэтому он "был в удивительном волнении" и старался сделать все от него зависящее, "как будто дело шло о родном отце". /II, 7/. Соприкосновение судеб этих двух людей как бы символически подчеркивается тем, что в момент самых страшных испытаний, непосредственно перед многодневной болезнью, Раскольников тоже чуть было не окончил жизнь под колесами экипажа. Контраст несчастного случая с Мармеладовым и тогдашнего счастливого исхода помогает ему осознать, что сделанная им попытка выйти из тупика в истории развития мысли не есть самое большое преступление. Гораздо большее преступление он совершил бы, если бы не смог сделать никаких духовных и душевных усилий и в полном бездействии ждал бы своего морального и физического распада. Правда, он не оказался "сильным человеком", который чувствует, что он имеет право не считаться с другими, но он и не был слабым, кого другие могут считать ничем: у него было достаточно силы для того, чтобы привести в движение душевно-духовную энергию, сохранить запрос автономии, запрос представительства идеи индивидуального самоосуществления. Поскольку свое действие он осмысливает как возмещение того, что не было дано сделать Мармеладову, нет ничего естественнее, что он чувствует своим тот круг задач, которые остались не выполненными со смертью последнего, и берет на себя поддержку его семьи. Хотя совершенно очевидно, что то, о чем он мечтал в течение многих месяцев в своем "шкафу" -- облегчить страдания неимущих с помощью богатств их ограбителей -- не может осуществиться, он все же, как ему кажется, сможет искупить вину, если поможет

тем, кто обращается к нему с доверием, сможет искупить кровь старухи-процентщицы кровью, пролитой Мармеладовым. "Да замочился... Я весь в крови," -- произносит он с особым ударением, имея в виду свежие пятна крови, оставшиеся на его жилете от переноски раненого, и испытывая при этом ощущение "приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение" /II, 7/. Ясно, что в будущем он не хочет идти тем путем, который намечала его теория, но он не видит и причины мучиться до самой смерти муками совести, и как бы вдруг поверя начавшемуся процессу выздоровления, ждет разрешения своих проблем: "Довольно! -- произнес он решительно и торжественно, -- прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!... Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой! Царство ей небесное и -- довольно, матушка, пора на покой!" /II, 7/ Целостное чувство подсказывает безмерно страдавшемуся юноше, что, если еще есть жизнь, и если, опровергая прежнее отчаяние, все же правда направляет человеческие дела, эта жизнь просто не может оставаться навеки глухой, слепой и бессмысленной, то есть, отправляясь от уже ранее замеченного факта душевной стойкости, он теперь осмысляет возможность душевного и духовного воскресения. "Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне; "И раба Родиона". больше ничего." /II, 7/ -- говорит он обращающейся к нему с полным любовным доверием, самозабвенно благодарной ему девочке. Забрезжившая надежда на воскресение, однако, сама по себе не означает, что найден действительный путь, ведущий к внутреннему равновесию. Ведь это иллюзия, что Раскольников, принявший прежде сообщество со всем человечеством именно в его греховности, может простить себе преступление, вступить на путь "индивидуального спасения". Не желающий признать первородность греха и в то же время ощущающий власть практики человек вынужден уйти в душевное и духовное подполье: "Царство рассудка и света теперь

и... и воли, и силы... и посмотрим теперы!". Поэтому он уже с насмешкой цитирует свои обращенные к Поленьке слова: "А раба-то Родиона попросил, однако, помянуть,... Ну да это... на всякий случай". /II, 7/ Однако, пережитое не проходит бесследно, жажда жизни и ощущение подчиненности практике не позволяют Раскольникову удовлетвориться своей индивидуальной правдой.

Семья Мармеладовых, та семья, которую он принял, не может полностью заменить ему настоящую семью -- общество матери и сестры. Благодарность, которой по праву награжден великодушный покровитель, в дар полученная искренняя привязанность, могут, конечно, согреть сердце юноши, принудившего себя к роли демона, но только близкие, ждущие, чтобы он открыл перед ними самые сокровенные уголки своего сердца, могут пробудить в нем сознание, что его личностные проблемы до сих пор еще не решены, что когда он думал о всемогуществе "воли и силы", "он слишком поспешил с заключением". /II, 7/ Когда "радостный, восторженный крик матери и сестры" встретил Раскольникова, "невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом". /II, 7/ Он понимает, что ему нечего им сказать, что он от них отрезан, и, как это было после встречи с Разумихиным, как бы спасаясь от непереносимого ужаса, он теряет сознание. Это бурное потрясение, однако, имеет целительное действие, оно не нарушает медленно развивающегося процесса выздоровления, а лишь колеблет ту новую уродливую самоуверенность, которая может помешать обретению полного духовного и душевного здоровья. Разумеется, тяжелый душевный груз препятствует спонтанному проявлению сыновней и братской любви, но, как это было недавно у Мармеладовых, он все же может кое-что сделать для облегчения судьбы своих близких, и это полная понимания забота, хотя она не может заполнить раскрывающуюся перед ним и приводящую его в отчаяние бездну чувственной опу-

стоенности, все же достаточна для того, чтобы временно ее пережить. Необходимость действовать, вызванная беспокоящим его намерением Дуни выйти замуж за Лужина, в этом тяжелом положении поддерживает непрерывность личностных отношений. И тогда, в семейном кругу, сразу по возвращении к Раскольникову сознания после болезни, вновь вступает в силу модель волюнтаристского поведения: "деспот" и "сумасшедший" Раскольников запрещает сестре приносить себя ему в жертву и, продав свою любовь, унижить себя, т.к., как он говорит: "А я хоть и подлец, но такую сестру сестрой считать не буду" /III, 1/. "Вспыльчивая" Дуня, разумеется, "обиженно" отвергает это насильственное вмешательство, и первая встреча проходит под знаком смятения чувств, чувственной неуверенности.

Пронесшаяся гроза столкнувшихся порывов, к счастью, разрежает атмосферу: на другой день при встрече "вчерашний мономан" "из-за малейшего слова впадавший... чуть не в бешенство" /III, 3/, владеет собой, скрывает свои чувства. У Дуни тоже было время, чтобы отделить от оскорбительных слов вызвавшие их глубинные чувства. Разобраться в проблемах помогает ей и Разумихин, который под влиянием хмеля не обращает внимания на противоречивость своих высказываний: он то красочно живописует низость Лужина, то выражает свое уважение к решению Авдотьи Романовны и таким образом смягчая заботы, заглаживает остроту слов своего друга, любой ценой добивающегося решения, лишает их обидного жала. Брат и сестра, которые по мнению и матери, и Разумихина, удивительно похожи друг на друга, столкнувшись, ощутив на опыте заботы другого, с большей надеждой на успех могут приступить к решению своих задач. Позиция, которую теперь занимает Дуня, свидетельствует о том, что она одновременно и считается со мнением брата, и решительно отвер-

гает его волюнтаристское выступление, защищая свою суверенную личность: "... я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мной; не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. К счастью, я могу в этом убедиться наверно, и даже сегодня же. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь! А если бы ты был и прав, если б я действительно решилась на подлость, -- разве не безжалостно с твоей стороны так со мной говорить? Зачем ты требуешь от меня геройства, которого и в тебе-то, может быть, нет? Это деспотизм, это насилие! Если я погублю кого, так только себя одну..." /III, 3/. И когда Дуня заканчивает свою тираду словами: "Я еще никого не зарезала," -- ее замечание значительно не потому, что, не имея такого намерения, она бессознательно наносит удар Раскольникову, а скорее потому, что приближает созревающее в Раскольникове освобождающее его от принудительности волюнтаризма признание, что и он стал убийцей лишь для "себя", то есть в результате неразрешенности своих личных проблем, и что речь идет не о том, что ему не удалось убедить себя в необходимости своего действия, а о том, что необходимость какого-либо выступления или отказа от него вообще не доказуема интеллектуальным путем. Примирение брата и сестры, их открытость друг для друга, рукожатие и улыбка -- залог личностных связей, подготавливают признание, что есть у человека точка, непоколебимо ориентирующая его, что к ней можно и нужно приурочивать свое поведение.

От опыта значимости личных связей до встраиваемости принципа личности в свое поведение еще очень далеко, и следующим этапом на этом пути для Раскольникова является его встреча с Порфирием. Роль Порфирия в обретении Раскольниковым самого себя можно сравнить с ролью Разумихина. Если его честный приятель заботится об измученном, чуть не ставшим жертвой померкшего ума теле Раскольникова, и движимый личностными

побуждениями, бескорыстной заботой, дает ему урок чистой деятельности, то следователь Порфирий, человек отточенной мысли, острой иронии, и в то же время не лишенный человечности, берет на себя представительство критического мышления, чистого разума. В методах следователя "психология", аналитическое исследование душевных мотивов играют примерно такую же роль, какую в мышлении Раскольникова играют "математика" и "логика", но в то время как разрабатывающий свой фантастический план юноша считает ум всемогущим, Порфирий знает, что психология -- "палка о двух концах": без содержательных факторов исключительно формальный анализ неприменим, с его помощью можно доказать все, что угодно. Свою осторожность по отношению к игре ума Порфирий объясняет своим зрелым возрастом, а доверчивость Раскольникова -- неопытностью молодости. В то же время он мудро не преувеличивает и значения опытности. И хотя он не без иронии превозносит подозреваемого им Раскольникова, нужно безусловно серьезно отнестись к тому, что себя он называет конечным человеком и считает, что именно для Раскольникова все возможности пока еще открыты, что ему принадлежит будущее. Ведь Раскольников ценой взятого на себя страдания освободится от заблуждений, Порфирий же, который во имя критического здравого смысла, во имя интеллектуального соблюдения меры скептически отказывается от проведения границ между жизнью и практикой, отказавшись таким образом от цели достижения аутентичного поведения, принимает из любви к удобству вместе с жизнью и вечно смешивающуюся с ее факторами безличную практику, позволяет ей влиять на действенность ее норм. Странное подмигивание его глаза, никак не согласующееся с тем, что он говорит, прерывающие его речь реплики, кажущиеся алогичными намеки, которые приводят Раскольникова в такое замешательство и которые являются успешными приемами в его следовательской работе, свидетельствуют об определяющей все его сущест-

во двойственности, о моральном надломе.

Собственно говоря, только здесь, на первом допросе мы знакомимся с теорией Раскольникова, когда он с должной корректностью и интеллектуальной дисциплинированностью излагает по просьбе Порфирия основные положения написанной им статьи "О преступлении". Перед официальным лицом, ведущим следствие, но в то же время и под влиянием инспирации, вызванной вниманием умного человека, слушающего его с интересом, признания Раскольникова освобождаются от того гнетущего баласта, который приобрело его интеллектуальное достижение, его опыт признания противоречия между интеллектом и традицией, в то время, когда он, оскорбленно уйдя от мира, от людей, забился в свой "шкаф". Мы узнаем, что все те мучительные впечатления, под влиянием которых он признал свое положение невыносимым и обвинил себя в преступлении, не имеют непосредственного отношения к его теории, что его теория сама по себе не предписывает ему совершения отчаянного действия, что к этому его побудил не ум, разрабатывающий теорию, а вся его чувствующая и жаждущая деятельности натура, его душа и тело, которые не могут принять его теории. Следовательно, создатель теории, который, как мы узнаем, не считает себя сильным человеком, Наполеоном или Магометом, на самом деле убивает не столько следуя своей теории, сколько скорее наперекор ей, восставая против железных законов истории, жестоких, для него невыносимых. И теперь, с занятой для Порфирия -- или лучше сказать, с помощью Порфирия -- холодной, объективной позиции он называет "глупеньким и тщеславным" того юношу, который "вообразит, что он Ликург или Магомет... будущий, разумеется!". /I-II, 5/.

Но насколько он заблуждался прежде, когда, не считаясь с явным протестом своей души и тела, считал свою теорию обязательным для себя законом, настолько же он несправедлив к

Самому себе и теперь, когда с высоты интеллекта клеймит свое отчаянное волюнтаристское усилие -- это и в его бессмысленности все же очень человеческое проявление -- как непростительно отвратительное, неприемлемо отталкивающее. Дело в том, что теория, которая совершенно удовлетворяла Раскольникова в плане его интеллектуального запроса полноты -- ведь она оставляет открытыми историческое перспективы совершенства человеческого бытия, возможность пришествия Нового Иерусалима, -- вовсе не принимает в расчет обладающую не меньшей стихийной силой спиритуальную потребность моральной автономии, переживания цельности, ведь в свете этой теории на пути к цельности считается неизбежным принятие распада человеческого, деления людей на две категории: на консервативную массу и на движущих мир вперед одиночек, на слабых и на сильных. На примере этой интеллектуальной "авантюры" наглядно видно, что, несмотря на внушаемую метафизическим мышлением иллюзию, в конечном итоге по существу ни одна теория не может быть сама по себе достаточной для формирования норм аутентичного поведения. Но герой, неизменно придающий исключительно интеллекту значение носителя ценностей, осмысляет это новое признание негативно и вместо того, чтобы поставить вопрос о действительных основах автономии, выяснить действительную роль живущей и в нем традиции, преждевременно и, в конечном итоге, ошибочно заключает о ее бессилии, недейственности. Вечная война "массы" и одиночек, имеющих право на то, чтобы изменить мир, таким образом не реальный факт, не действительное человеческое состояние, а некая вывернутая наизнанку негативная метафизическая истина, кошмар, наваждение отчаявшегося человека, потерявшего метафизические гарантии миропорядка. Возведение кошмара "вечной войны" в ранг состояния мира ничем не обосновано, ведь если интеллект и не может обеспе-

чить человеческий запрос воплощения автономии, то он не может и воспрепятствовать ему; наделение интеллекта дьявольской силой не менее грешит против требований критического мышления, чем наделение его божественными атрибутами, против чего и направлена теория Раскольникова. Интеллектуальный подход может быть действительно корректным, разум, как форма, может быть действительно "чистым" только в том случае, если он заранее откажется от непосредственных влияний на себя со-держательных факторов чувства и деятельности, если поручит их регулирование традиции. Искусственно соединять интеллект и традицию, искать универсальных гарантий преодоления их противоречий нет нужды, ведь, с одной стороны, их конкретное, со-держательное уравнивание непрерывно происходит в личностных усилиях каждого человека, а, с другой стороны, интеллектуальная программа достижения полноты бытия и данная традицией программа пришествия Нового Иерусалима -- как это показывает и мышление Раскольникова -- в сущности соответствуют друг другу и на уровне простой вербальности, на уровне отвлеченных понятий.

Скепсис и ирония Порфирия, занимаемая им ограниченная критическая позиция, а также мудрое, холодное принятие к сведению ограниченности этой позиции, помогают Раскольникову воздержаться от некритических выступлений, то есть преодолеть душевную принудительность волюнтаристского акта, но не дают ему возможности решить интеллектуальную проблему волюнтаризма так, чтобы не был нанесен ущерб его запросу полноты. Поэтому в свете нового признания, подсказанного следователем, он чувствует только отвращение и презрение к самому себе за долгое время питавший его гнев, за намерение стать убийцей, которое в конечном итоге не оправдывается даже его теорией и которое именно поэтому предстает перед ним как самодовольно глупое и отвратительно злое. Когда, разоблачив себя перед са-

мим собой, он считает себя "эстетической вошью...", сквернее и гаже, чем убитая вошь", /III, 5/ чем старуха-процентщица, представлявшаяся ему в свое время олицетворением всего мирового зла, он расплачивается потерей уверенности в себе за ту гордую самоуверенность, которая овладела им как рефлексия на возможность духовного воскресения, открывшуюся перед ним со смертью Мармеладова. В противовес тогдашним иллюзиям, в противовес ложной перспективе индивидуального спасения ему приходится признать, что преступление гораздо более тесно связывает его с человеческим феноменом в целом, чем попытка, уйдя от наказания, Урегулировать спиритуальные вопросы с помощью интеллектуального самонаблюдения. Об этом его как бы предупреждает встреча с таинственно возникшим перед ним прохожим, называющим его "убийцем", и сон, в котором его жертва, старуха, смеется над своим убийцей, не желающим больше знать о ней, пытающимся освободиться от тяжелых воспоминаний.

Встреча со Свидригайловым таит в себе новые тяжкие испытания для Раскольникова, но настоящее драматургическое значение появления Свидригайлова заключается все же в том, что оно непредвиденно помогает герою сдвинуться с мертвой точки в своей самооценке. Соблазнитель его сестры, это осужденное на одиночество моральное чудовище, в одинаковой мере движим как душевным принуждением, так и тщательно разработанным кавёрзным планом, двойственностью иррационального и рационального мотивов, когда пытается подчинить разлагающему влиянию своего духа потерявшего внутреннее равновесие молодого человека. Его план, однако, обращается против него: столкнувшись лицом к лицу со Свидригайловым, потерявший самоуважение Раскольников обретает способность почувствовать до сих пор скрытые от самонаблюдения -- так как они воспринимаются как нечто само собой разумеющееся -- ценностные пласты своей натуры. Стареющий сластолюбец, так же как и добровольно принимающий страдание юноша, признает уничтожающее моральный закон действие практики,

однако, в то время как Раскольников, аскетически ограничивая потребности своего тела и души, готовит себя к сверхчеловеческому усилию разума с целью восстановить в правах справедливость, Свидригайлов чувствует себя вправе при создавшемся проблемном положении безгранично удовлетворять все свои желания, побуждения чувств и ощущений. Он провозглашает, что ничто человеческое ему не чуждо, занимая противоположную по сравнению с точкой зрения Раскольникова, односторонне отвергающего душевный и телесный факторы, позицию, но гуманный лозунг звучит дьявольской насмешкой в устах человека, который, отказавшись от задачи гармонического объединения духа, души и тела, делает себя рабом причудливой игры своих капризов, овеществляя таким образом человеческий феномен. Правда, и Раскольников теряет нормы аутентичного поведения, но он -- этот фантаст, чувствующий необходимость стать убийцей для того, чтобы повлиять на безличную практику -- все же отличается от страдающего из-за ненасытности своих желаний сластолюбца Свидригайлова тем, что он не желает примириться с видимым отсутствием этих норм. Разница между задуманным покушением на бездушную старуху-процентщицу и доведением до самоубийства при таинственных обстоятельствах девочки-подростка, разумеется, скорее принципиальная, нормативная, чем практическая: эти две истории отличаются друг от друга не силой причиненного жертве зла или нанесенного обществу ущерба, а степенью заблуждения преступника и возможностями его возвращения на путь верного поведения. Раскольников, который сознательно, во имя какой-то лично избранной цели, дает место злу, обладает гораздо большими возможностями для регенерации человечности, чем Свидригайлов, который, обманывая самого себя, не сознавая того, подчиняет свою личность бесформенным факторам инстинктивной жизни. Характерно, что юноша с чувствительной совестью считает себя убийцей уже потому, что мысленно приговорил старуху-процентщицу к смерти; Свидригайлов же прибегает к удоб-

ным отговоркам и с циничной двусмысленностью обсуждает свою роль в смерти своей жены и своего слуги. Есть какая-то слабая тень истины в том, что, как в конечном итоге все люди, и Свидригайлов -- жертва, но все же то обстоятельство, что он выступает "объективно", душевно мертвенно в своем личностном деле, что он, не будучи способным нести ответственность, оправдывает себя, свидетельствует о последнем распаде его личности, о чудовищности его натуры.

Разумеется, вполне понятно, вполне человечно стремление Свидригайлова найти путь к человечеству, однако это стремление не осуществимо именно потому, что его носитель отказывается от личностного представительства этого стремления. Ему не удастся восстановить отношения с Дуней, которые означают для него последнюю надежду, собственно говоря, по собственной вине: он упускает открывающуюся перед ним слабую возможность их восстановления, когда сам не доверяя честности своей просьбы и боясь возможного поражения, ищет "практических" вспомогательных средств, чтобы повлиять на личное решение девушки -- прибегает к шантажу и физическому насилию. Дуня, как перед этим и ее брат, поступает правильно, когда в этой ситуации не хочет сжалиться над чудовищем, называющим себя жертвой, а считает своей первоочередной задачей защиту своей моральной цельности. Ведь и Раскольников совершает ошибку не тогда, когда ведет себя по-человечески в действительных ситуациях, а тогда, когда в придуманных им самим искусственных условиях отводит себе роль провидения. Спасаящая себя Дуня и прогоняющий искусителя Раскольников ничего не упускают, Свидригайлову же приходится самому привести в действие "провидение", призванное спасти его от ада собственной души. Как правильно замечает Свидригайлов, никто не имеет "привилегию" "делать одно только злое" /IV, 1/, но как человек, который не способен держать свое слово, он может совершить доброе де-

ло, может обрести себя лишь в том случае, если, сделав необходимые выводы из распада своей личности, поставит себя в крайнюю ситуацию, то есть ценой самоубийства опесочит доверие к своему доброму поступку. Злой и в некоторых случаях опасный Свидригайлов, как это доказывает его самоубийство, не стоит на самой низкой ступени ценностной шкалы произведения, ведь если он и ушел от человечности, в его пользу говорит то, что он не мог вынести своей чудовищности. От пошлого Лужина, например, к которому он относится с презрением, он выгодно отличается интенсивным проблемным сознанием, живо, но в конечном итоге самоубийственно действующим запросом полноты -- при отсутствии переживания цельности --, препятствующим тому, чтобы он мог сам уверовать в свою ложь и, превратившись в инструмент практики, направить свою преследующую эгоистические цели безудержность против других людей.

Если Разумихин берет на себя заботу о теле Раскольников, а Порфирий -- о его духе, давая ему примеры свободных от внешних, чуждых мотивов чистой деятельности и чистого разума, то Соня приносит мир его душе примером благородного, возвышенного, и при этом непосредственного, не рефлексивного, чистого чувства. Несчастливая девушка не просто хочет любить, в ее ужасном положении у нее нет возможности для того, чтобы, размышляя над спасительной силой любви, предаваться упоительным мечтаньям; она решается на унижающий ее трагический шаг потому, что, видя моральное падение близких ей людей, чувствует, что она не имеет права оставаться чистой и, любой ценой защищая свою моральную цельность, чувственно отдалиться от них. В творчестве Достоевского образ Сони яснее всего показывает, что любовь не есть только какая-то идеальная, способная служить интеллектуальной целью духовная сила, что обязательная любовь к ближнему основывается не на утонченности

чувств, не на совершенстве личности, а на признании греховности человеческой природы, на понимании страданий человека, как Сизиф, борющегося со своими проблемами, и на поддержании в нем надежды на освобождение от грехов. Любовь Сони к опустившемуся пьянице-отцу и к взбалмошной, посылающей ее на улицу, Катерине Ивановне стоит настолько вне всяких разумных мотиваций, и в то же время с такой непреложностью защищает от распада идентифицирующее сознание этой подвергающейся ужасным испытаниям этой девушке, цельность ее личности, что невозможно сомневаться в самостоятельном, особом существовании этого чувства, в действительности традиции, представленной в поведении Сони. В личной любви девушки гармонически разрешается та недопустимая для ума двойственность, которую Раскольников ощутил в противоречии высокой, рефлексирующей любви и непосредственного "животного" чувства. Однако, ценой за проявление чистого чувства и за сохранение с его помощью идентифицирующего сознания для Сони -- из-за ее чувственного отождествления с потерявшими свою автономность людьми -- является утрата моральной цельности, отказ от интеллектуального запроса полноты. Любящий сестру, мать и желающих ему помочь, поддерживающих его людей, со своей моральной высоты питающий филантропические чувства ко всему страдающему человечеству во имя истины, Раскольников в чистом чувстве, представляемом Соней, в любви, готовой к безусловно полному отождествлению с каждым страдающим человеком, наконец узнает и признает греховность, отсутствие опыта которой до сих подвергало его таким страшным испытаниям и привело на край гибели. Греховность, или конкретное ощущение в грехе границ автономности, делает его поведение аутентичным, делает возможным, чтобы автономия была осведомлена о своих границах без отказа от морального миропорядка, от осмысленности моральных усилий, так как теперь она обретает эту осведомленность не только умозрительно, интеллектуальным путем, но и содержательно, через традицию. Придерживающийся

требований автономности, но в греховности признающий пределы автономности, герой совершенно освобождается от душевной принудительности волюнтаризма, но неразрешимость интеллектуальной проблемы волюнтаризма, точнее, отсутствие понятийной сформулированности нового опыта, препятствует тому, чтобы жизнь героя, несмотря на аутентичность его поведения, стала действительно гармоничной. Соня в сближении с Раскольниковым также получает возможность развить свою автономность, поскольку ее любовь, любовь к автономному существу, побуждает ее к этому.

Невозможность формирования сознания своей вины, проистекающего из ее интеллектуального осознания раскаяния, и в то же время признание, согласно которому нельзя длительно подвергать личность влиянию переживания своей преступности, разрушительному действию угрызений совести, подготавливает Раскольникова к признанию знаменующей границы личностно-индивидуальной проблематики, но одновременно неотчуждаемой от человеческого феномена, практики. Когда, внимая мольбе Сони, принимая совет Порфирия, ограждая себя от шантажа Свидригайлова, и, не в последнюю очередь, видя безвыходность своего положения, бессмысленность дальнейших усилий, Раскольников признается в убийстве, он, исходя из своего спиритуального опыта, принимает к сведению человеческое значение практики. Признание, согласно которому задача превращения бытия в аутентичное, изначально стоит вне круга интеллектуальной обзиримости, создает для Раскольникова условия осмысления своего, с интеллектуальной точки зрения непроницаемого, преступления, поскольку он отождествляет с практикой "первородный грех", создающий в конечном итоге сообщество между обладающими различными личными и индивидуальными способностями людьми, и побуждающий его к волюнтаристскому выступлению, несмотря на его

личное совершенство. Хотя задача гуманиста состоит в том, чтобы, умножая возможности, предоставляемые интеллектом и традицией, прилагая личностные усилия, во имя истины и любви осмысленно выразить свою общность с другими людьми, со всем родом человеческим, все же, чтобы избежать опасности потери ориентации в гуманной проблематике, он должен постоянно иметь в виду конечность своих стремлений, своих личных возможностей и, не отказываясь от надежды на будущее превращение бытия в аутентичное, он должен признать факт существования практики, действительность "первородного греха", свою выходящую за пределы личностных усилий безличную причастность к роду человеческому.

Сохранив непрерывность проблемного сознания, Раскольников и теперь ощущает деградирующее влияние практики, и в дальнейшем не желает превращать ее в меру своего поведения, но, сравнивая отдельные положения, созданные практикой, с независимыми от нее и неизменными нормами аутентичного поведения, он как особую проблему ощущает неаутентичность бытия, что означает, что, с одной стороны, личностные усилия не направляют практику по определенному руслу, а, с другой стороны, что нормам аутентичного поведения все же нужно следовать и в безразличной к этим нормам сфере практики. Приговор и ссылка в Сибирь, которая ждет преступившего закон человека, являются внешней рамкой и символическим выражением того страдания, которое является уделом человека, представляющего все начатки аутентичного поведения и ощущающего все препятствия к его осуществлению, но не знающего способа их интеллектуального устранения и пока еще не нашедшего возможностей сосуществования с практикой.

III. Комментарий

И каждый раз молодой человек, проходя мимо, /хозяйкиной кухни/ чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился... Не то, чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив... / , 1/.

Достоевский явно сравнивает Раскольникова с человеком "из подполья" -- с героем субъективного романа "Записки из подполья", созданного за несколько лет до "Преступления и наказания", стремится отделить один образ от другого. В то время как человек "из подполья" во всех жизненных ситуациях кажется "трусливым", "забитым", Раскольников становится таким с тех пор, как его начинают мучить особые, беспокойные мысли, с тех пор, как забившись в свою похожую на "шкаф" комнату -- в это своеобразное "подполье" -- он начинает готовиться к выполнению своего фантастического плана. Присущие его натуре смелость, решительность, способность действовать в настоящих жизненных ситуациях являются знаком определяющей все его существо автономности, моральной целостности. Мы не можем утверждать -- у нас нет для этого должного основания --, что обитатель подполья -- этот автобиографический герой Достоевского на ранней стадии своего развития -- не обладает автономией. Видимость его моральной ущербности создается скорее за счет того, что, подгоняемый интеллектуальным запросом полноты, чувствующий себя призванным представлять гуманитарную проблематику в целом, но безусловно не способный на это, подпольный человек, мучаясь своим провалом, клеветает на себя; при односторонне-искажающем самонаблюдении рефлексия загораживает от него жизнь, и ему не удастся почувствовать всегда проявляющее себя в жизни действие автономии, пережить полноту. Формирование концепции большого романа вызвано именно различием автономии и запроса полноты, тем непредставимым в прежних произведениях проблемным состоянием, при котором,

как мы видели, Раскольников во всех жизненных ситуациях -- автономное существо, и только в той искусственной ситуации, которую создает, отрицая требования аутентичного поведения, считающий себя всемогущим разум, теряет способность к моральной ориентации. Создающая единство субъективного и объективного методов повествования утонченная, артистическая система поэтики "Преступления и наказания" в конечном итоге является выразителем отделенных друг от друга и проблемно противопоставленных друг другу факторов автономии и запроса полноты, соответствуя им на уровне формы.

Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься /I, 1/. В то время как подпольный человек" свою беспомощность объясняет "развитостью своего сознания", то есть -- хотя и с характерной для него двусмысленностью -- все же оправдывает ее, в "Преступлении и наказании" авторское повествование без всякой дидактичности не позволяет не учитывать бегство героя от деятельности, негативный момент отказа от чувств, отпадения от традиции. "Насущность" дел со всей очевидностью указывает на то, что ими обязательно нужно "заниматься". Таким образом, когда Раскольников забивается в свой угол, его поведение и в том случае, если оно понятно в свете знания о сложной игре личностных факторов, и в том случае, если оно не понятно, все же ни в коем случае не может быть оправдано, и условием преодоления кризиса является как раз решительное осуждение такого поведения, отказ от каких-либо попыток его оправдания. Отрицание деятельности осложняет все личные связи героя. Он, например, навлекает на себя неудовольствие квартирной хозяйки, которая опасается странно ведущего себя жильца, но ослабевает и дружба, связывающая его с Разумихиным, ведь Раскольников больше не желает принимать разумные предложения последнего, заботящегося о том, как попра-

вить его положение. Его чувства к матери, к сестре также опасно усложняются, так как он теперь не только не может им помогать, но для него, для гордого молодого человека, едва ли выносимо такое положение, при котором он вынужден полностью рассчитывать на их помощь. В конечном итоге отрицание деятельности абсолютно отрывает его от жизни, лишает возможности вступать в какие-либо отношения с людьми и собственно притока для замкнутого в самом себе, и потому непременно иссушающего себя, разума свежих впечатлений, действенных импульсов, нового опыта. Комната, ограждающая его от жизни, именно поэтому в то же время и его "гроб", как ее называет при первом посещении мать Раскольникова, куда можно, конечно, с протестующим жестом добровольно удалиться от мира, однако, через некоторое время у добровольного узника уже не будет ни силы, ни воли самому вершить свою судьбу и таким образом находить смысл в своем прежнем решении.

Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та ни замыслила против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать...

/I, 1/. "Подпольный человек" не может сделать то тонкое различие, которое здесь делает рассказчик, хорошо разбирающийся в душевном мире, в факторах сознания своего героя, и в то же время видящий его в жизни. С помощью рассказчика вырисовывается то признание, что непосредственно герою угрожают не приспособленные к жизни люди с "неразвитым сознанием", то есть сильные люди, движимые не интеллектуальным запросом полноты, а что Раскольникова, встречающегося с такими людьми, сравнивающего себя с ними, унижает перед самим собой свой неудовлетворенный запрос полноты. Раскольников видит свою квар-

тирную хозяйку такой, какая она есть на самом деле, не принимает это обыденное существо фантастическим образом за своего преследователя, однако, мучения, которые причиняет ему встреча с ней, от этого не прекращаются. Герой не способен выносить жизнь, не желает вести себя так, как нужно в различных жизненных ситуациях, так как принятие жизненных положений, автономное поведение, представляющееся в принципе возможным в этой сфере, для него означает отказ от запроса полноты. Раскольников ищет возможностей для аутентичного поведения, и согласно его оценочной шкале заблуждением считается не только то, что, подчинившись своему фантастическому плану, он лишается моральной цельности: не меньшим заблуждением является и отказ в целях сохранения автономии от запроса полноты.

Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая... о царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки! /I, 1/.

Как мы видим, Раскольников прекратил всякую деятельность, отверг все то, что подсказывалось принятыми им личными связями, спонтанными жизненными положениями, или то, к чему принуждает человека практика, но теперь он все же хочет действовать. Однако, согласно его намерению то действие, к совершению которого он готовится, в соответствии с традицией гуманизма нового времени, придающей разуму с определенной односторонностью основополагающее значение, должно быть мотивировано исключительно интеллектуально, таким образом это не означает реабилитации деятельности, равноценной разуму, имеющей собственный принцип, не означает признания личности, жизни и практики. Как в свое время Гамлет, Раскольников чувствует, что размышление -- смерть для действия, ощущает границы концепции,

преувеличивающей значение разума, видит, что деятельность в действительности никогда нельзя измыслить: ощущает, чувствует, но сознательно не признает этого, и, в конечном итоге, оставаясь на позиции интеллектуализма, трактует ошибочно этот непризнанный опыт -- он винит себя в возникающих трудностях, называет себя непоследовательным, несерьезным, и, как бы совершая насилие над своей человечностью, принуждает себя к выполнению поставленной перед собой задачи. Как и обитателю подполья с его "слишком развитым сознанием", Раскольникову, побуждаемому запросом полноты и не находящему возможности привести этот запрос в согласие с переживанием автономности, не удается последовательно осуществить свой план, заставить свою живую человечность действовать согласно схемам интеллектуализированной концепции человека. Но в отличие от него, как бы свидетельствуя о развитии проблемного сознания автора, он не останавливается на этой интеллектуально не решаемой дилемме, не погружается в парализующее состояние сомнений, а, совершив задуманное дело и взяв на себя всю полноту ответственности за него, ищет уже не просто восстановления самоуважения /в свете концепции "Преступления и наказания" в этом больше нет необходимости/, а решения человеческих проблем, вырисовывающихся в его индивидуальной судьбе. Маленький человек, ставший героем большого романа, при таком изменении точки зрения эмансипируется, во всяком случае, в той мере, в какой имеет смысл либеральная концепция эмансипации, в границах которой эмансипация может быть вообще осмыслена.

Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен... столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека... /I, 1/ Указанием на красоту Раскольникова в тексте романа подчеркивается тот резкий контраст, который представляет по сравнению с цельной, гармоничной по природе натурой ге-

роя случайная власть над ним темных, хаотических чувств и импульсов. Бьющийся над своей "идеей", над своим планом и пытающийся подчинить все спонтанные проявления диктаторству ума молодой человек, подвергая себя самоанализу, пытается решить вопрос о том, принадлежит ли он к числу "сильных" и имеет ли он, как сильный, право перешагнуть через все преграды, не считается как раз со "злым презрением", которое и побуждает его возвести ум в ранг диктатора. Ведь его крайняя "раздражительность", "напряженность" как раз указывают на то, что в его выступлениях требующий для себя первенства разум отнюдь не "чистый", и потому им невозможно обосновать человеческий феномен в целом. Поскольку это не подтверждается его опытом, Раскольников больше не верит во всемогущество чистого разума, но несмотря на разочарование, он все же отчаянно старается насильно применить отдельные отжитые, исчерпавшие свои возможности формулы гуманизма. Однако, такое насильственное применение отжитых положений, как оно ни катастрофично, все же не может считаться бесполезным, ненужным. Гротескное предприятие Раскольникова, хотя и не с рациональной точки зрения, как он ошибочно полагает вначале, но с более широкой человеческой точки зрения все же значительно. "Подпольный" человек, защищающий свое частное "я" от тирании "математики", "логики", остается незначительным, герой же большого романа, берущий на себя роль тирана, не считаясь со своей живой натурой, доводя до абсурда проблемное состояние, в котором он оказался, ценой страдания получает необходимый с точки зрения обновления гуманизма опыт.

Мелочи, мелочи главное!... Вот эти-то мелочи и губят всегда и все... /I, 1/ Момент "мелочей" указывает на пестроту, разнообразие жизни; их в принципе невозможно охватить с объединяющей точки зрения интеллекта, и они являются главными пре-

пятствиями в осуществлении плана Раскольникова. Герой, однако, не может признать жизнь, не может примириться с бессилием ума, если не видит более действенного средства для урегулирования человеческих проблем, чем то, которое предлагает разум, ведь он не может признать наряду с разумом значения традиции.

Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?... /I, 1/ Раскольников, который в сущности никого не боится, теряет всякую уверенность в той искусственной, метафизической ауре, которую он создает вокруг себя благодаря своей теории. Это не трусость, хотя он и называет себя с едкой насмешкой и раздражением трусом, а неспособность теории к гармоническому охвату человечества, к осмысленному руководству им. В то же время за неимением лучшего он не может и отказаться от своей теории, не может признать себя "тварью дрожащей", к чему призывает Аллах, обращающийся к своему пророку, так как в отличие от традиции ислама, в соответствии с которой человек должен полностью подчинить себя воле бога, Раскольников следует библейской традиции, направленной на формирование личностных отношений с богом: он чувствует традиционно относящимся к человечеству не только сознание конечности индивидуальных возможностей, но и потребность ориентироваться во всех человеческих делах. Отказ же от традиции был бы для него не менее губителен, чем вынужденное преувеличение значения интеллекта.

О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я ... нет, это вздор, это нелепость! -- прибавил он решительно. -- И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! /I, 1/ У автономного героя в сущности нет моральных дилемм. Он знает, что того, что он замышляет, с точки зрения морали нельзя делать; в этом он "абсолютно уверен". Но он не слушается ясных слов своей совести

потому, что ввиду широты своего интеллектуального горизонта знает -- и здесь можно видеть аналогию с гетевской концепцией "Фауста", -- что все человеческие дела решаются не только в малом мире, строящемся лишь на непосредственно личностных отношениях, но и в более широком, основанном на рациональных началах, большом мире, и вполне обоснованно чувствует себя призванным к тому, чтобы принять участие в делах большого мира. Однако, здесь отсутствует /и это по сравнению с представлением о мире в немецкой классике является негативным опытом, вытекающим из всего творчества Достоевского/ сама возможность осмысленного вмешательства в дела этого мира. В большом мире действуют не только сознательно выдвинутые, как программа, принципы, идеи, но и слепые силы, которые грозят уничтожением и незащищенным, хрупким ценностям малого мира. Так рождается фантастический, абсурдный план: ценой отказа от своей человечности, ценой преодоления своих реальных человеческих возможностей попробовать воспрепятствовать гибели всего человечества или, как говорит шекспировский Гамлет, вернуть на место мир, в котором "распалась связь времен". Но если Гамлет, сопротивляясь принуждению интеллекта, до конца воздерживается от совершения действия, грозящего уничтожением его человечности, Раскольников, который почувствовал безличную власть практики, пока не видит возможности для такого воздержания.

Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, -- и вот, в один миг, крепнет ум, яснее мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!.../I, 1/ Прекративший живую деятельность, стремящийся полностью рационализировать свою жизнь, Раскольников готовится к тому, чтобы, как нечто в сущности ненужное, иссушить и свое тело. Он почти ничего не ест, ходит в лохмотьях, не заботится о поддержании минимальных материальных условий своего существования. Однако, как только перед

ним начинают вырисовываться задачи, связанные с осуществлением запланированного согласно с теорией действия, снова возникает и необходимость заботы о теле. Эта забота, однако, не означает признания тела по существу принадлежащим к человеческим проявлениям и равноправным с другими человеческими проявлениями. Тело привлекает к себе теперь его внимание только как исполнитель, как раб интеллекта, как какое-то необходимое домашнее животное и как глупая, но практически полезная машина. Человек, руководимый одним лишь интеллектом, именно поэтому стыдится своего "обручения" с телом, чувствует тело, как нечто неприемлемо унижительное. Неуверенность, отсутствие убежденности, мешающие Раскольникову целенаправленно продвигаться вперед, согласно его концепции осмыслиется им как результат бессмысленного тормозящего влияния глупого тела и тупой животной души.

... Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета -- порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. /I, 2/. Отменяет ли социальный фактор моральную точку зрения, может ли одна только нищета лишить человека его моральной целостности? По мнению Мармеладова -- может, и это и есть полупричина этого морально павшего пьяницы. Падение Мармеладова объясняется не только тем, что он лишен материальных благ, но и особого рода духовной нищетой, отсутствием побуждений к представительству интеллектуального запроса полноты. Его горизонт ограничен миром людей, борющихся за существование, за сохранение прежней формы жизни, и таким образом по сравнению с Раскольниковым он остается маленьким человеком. Хотя Мармеладову выпали на долю испытания, безусловно превышающие его моральные возможности, все же представляется излишним гово-

речь здесь о пограничной ситуации, так как применение этой формулы затушевывает вопрос о том, почему для него граница проходила именно здесь, насколько герой не владел всеми человеческими возможностями. Человек, владеющий всеми человеческими возможностями, как например, Раскольников, не может оказаться только за счет одного движения жизни или практики в пограничной ситуации, если он склонен представлять гуманность, если, чтобы отразить давление безучастных овеществленных факторов, он всегда находит достаточное место для маневрирования. Такой человек по-настоящему только тогда ощущает "предел", когда вместо безучастной равнодушной опредмеченности он встречается с какой-либо злой тиранической волей -- либо в себе самом, либо в ком-либо другом, -- которая, намеренно осложняя положение, сознательно направлена против человечности, которая не просто ограничивает условия существования, а унижает человека как раз в его человечности. Интеллект Раскольникова, однако, в такой мере не отчуждается от его натуры, личность его не распадается, и здесь нет и речи о том, что он может оказаться в сетях какой-либо дьявольской воли, хотя измученный сомнениями, дошедший до дна в своих испытаниях, он этого и боится.

Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти! /I, 2/ Признание опустившегося на дно человеческого существования Мармеладова в данной ситуации звучит как предупреждение, адресованное гордому, готовящемуся необдуманно оттолкнуть от себя жизнь Раскольникову. Ни один человек не может быть достаточен для самого себя; индивидуум, отвергающий людей, ставит под угрозу свою человечность, так как в своей отъединенности он не может репрезентировать человека. Человек, в чьем распоряжении имеется вся пол-

нота человеческих возможностей, свидетельствующий об аутентичном поведении, всегда готов к личным отношениям, если он видит для этого возможность и находит в этом смысл, и в его поведении выражается тот опыт, согласно которому не только его моральная сущность, но и его интеллектуальный запрос полноты, выходит за рамки индивидуальности, так как и этот запрос укоренен в традиции, пережитой и сохраненной за счет социума, хотя сам по себе этот запрос и не достаточен для того, чтобы с его помощью человек мог преодолеть отдельность своего существования. Разумеется, проявляющееся в личности, в традиции, в жизни и в практике принятие сообщества с социумом ни в коем случае не может означать подчинение одного человека другому, безусловное приспособление к другому, унижение, на которое человек идет для сохранения отношений с другим. /Мармеладов, например, "кротко" терпит, когда его жена таскает его за волосы/; оно не может означать также, что человек, унижающий эти отношения, имеет безусловное право требовать поддержания этих связей как элементарного условия сохранения человечности /не моральный закон заставляет Соню зарабатывать на улице деньги на водку пьянице-отцу/.

...не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! "Се человек!" Позвольте, молодой человек: можете ли вы... сказать утвердительно, что я не свинья? /I, 2/. Мармеладов говорит об униженности, но в сущности ведет себя вовсе не униженно. "Витиеватые" выражения, которыми он расцвечивает свое "представление", претенциозные ссылки на библию указывают на то, что он, странным образом, очень и очень высокомерен, и, при этом, высокомерен не соответственно со своим положением, как-то смешно. Насмешки собравшегося в распивочной общества, потешающегося над его речами, объясняются не только грубостью чувств этих людей, но питаются и явно прояв-

ляющей в поведении Мармеладова комичностью. Опустившегося чиновника побуждает к тому, чтобы назвать себя "свиньей", не искреннее самоосуждение, а /помимо наслаждения своей ролью, разыгрываемым им спектаклем, помимо желания поразить слушателей/ и расчет на то, чтобы упредить осуждение других и с помощью парадоксального механизма самоосуждения доказать, что он больше, чем другие, что он лучше, чем кажется, ведь он прекрасно видит самого себя. Не он, а его дочь, Соня, действительно покоряется, отказавшись от всякой гордыни; она ведет себя соответственно своему положению, и потому ей удается избежать той уродливой комичности, которая характеризует -- несмотря на их потрясающую судьбу, -- ее отца и мачеху.

Этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку /1, 2/. Мармеладов умер морально не постепенно, он сломился не с убыванием своих моральных сил, а внезапно, под обрушившимися на его неразвитую индивидуальность ударами судьбы. В этом, создавшемся относительно внезапно, как это бывает при катастрофах, положении еще не совсем загложшая живая, чувствующая совесть и в то же время потеря способности к автономии мотивируют ту потрясающую двойственность, которая привлекает к себе внимание Раскольникова. Любовь Мармеладова к жене "болезненна", так как эта любовь, не позволяя ему увидеть настоящую ситуацию и настоящие человеческие качества участников этой ситуации, поддерживает в Мармеладове мучительное сознание своей моральной беспомощности, питает тоскливую мысль о том, что он является единственной причиной всех страданий обожаемого существа. В своем беспредельном самоистязании Мармеладов находит уродливое душевное удовлетворение, так как выражая чувствительность своей ду-

ши, он искусственно поддерживает свое пошатнувшееся в результате утраты автономии самоуважения.

Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!... /1, 2/ Приняв сознание своей греховности и за счет этого сохранив единство своего существа, покорная Соня ни в чем не хочет винить отца, и такое поведение является по отношению к переживающему свою слабость, но уже не способному ее преодолеть Мармеладову, единственно правильным. В отличие от потешающегося над этой странной фигурой общества из распивочной и от отчаявшейся Катерины Ивановны, в своих истерических выпадах во всем обвиняющей мужа, Соня поддерживает с отцом, как бы вдыхая в него душу, личные отношения.

Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы! /1, 2/ Хотя Мармеладов и называет себя "свиньей" по собственному признанию, он все же не может преодолеть комическую раздвоенность своего существа, не может добиться в этом мире уважения людей. Безусловные ценности его натуры, которые он не смог проявить должным образом, можно оценить по заслугам лишь с позиции бога, наделенного атрибутами всевидения, всезнания. Поэтому оперирующему к последнему суду Мармеладову все же удастся выразить себя, поэтому-то и "на минуту воцаряется молчание" после его слов, но, разумеется, одна лишь сила произнесенного слова не вызывает изменения в людских делах, и вскоре опять "раздается прежний смех и ругательства". Прощающая отцу, до конца поддерживающая с ним личные отношения ангел-Соня является для несчастного, покинутого, неспособного осуществить себя в жизни человека вестницей "божественной" справедливости.

Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко все-

му-то подлец-человек привыкает! -- Он задумался. -- Ну а коли я соврал, -- воскликнул он вдруг невольно, -- коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род то есть человеческий, то значит, что остальное все -- предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!... /I, 2/ Раскольников вступает с Мармеладовым в личные отношения, принимает его как своего друга, и даже, как отца. Он не высмеивает этого несчастного и не предъявляет ему излишних обвинений, но как человек, высоко оценивающий роль разума, он, в отличие от Сони, в душе осуждает его. На особую роль образа героя указывает то, что в действительных ситуациях, создаваемых жизнью, его запрос полноты не наносит ущерба его личности, так же как его моральное естество не ограничивает запроса полноты. "Навязчивая идея" лишь тогда поработает его, когда он размышляет о судьбе человечества, и только в той мере, в какой он, придерживаясь ставших бессодержательными формул гуманизма, полагает, что человек интеллектуально может и должен охватить человеческий феномен в целом. Так происходит и тогда, когда он называет традицию, превышающую круг действительности отдельного человека, "предрассудком".

Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь? -- Я делаю... -- Что делаешь? -- Работу... -- Какую работу? -- Думаю, -- серьезно отвечал он помолчав. Настасья так и покатила со смеху... -- Денег-то много, что ль, надумал? /I, 3/ Образу Раскольникова с его трагическими исканиями противопоставляется -- в духе жанровых конвенций классицизма -- комическая фигура служанки Настасьи. В то время как герой не желает знать о тех явлениях, которые выходят за пределы сферы инди-

видуума, воплощающего лишь интеллектуальные качества /так например, о сфере телесности, деятельности/, кругозор Настасьи ограничивается исключительно этими явлениями. Как человек, который еще не вступил на путь индивидуализации и потому не обладает каким-либо проблемным сознанием, безусловно комическая фигура служанки Настасьи в то же время не уродливое явление, ведь она не отвергает спиритуальной сферы, а, в конечном итоге бессознательно поручает решение духовных и душевных вопросов, в духе самс собой разумеющейся для нее конвенции, тем, кто по традиции призван заботиться о ней в данном отношении. Настасья, которая целый день проводит на кухне, бега-ет то в магазин, то на рынок, убирает квартиру, находит очень странным бесцельное безделье жильца, превышающее всякую меру. Ее вовсе не удовлетворяет заявление Раскольникова о том, что, поскольку он готовится к умственной профессии, его дело состоит в том, чтобы думать. По ее представлениям работа -- это то, что делает она, ведь, как она полагает, деньги нельзя "надумать". Но странным образом молодой человек, ставящий перед собой интеллектуальные задачи, не возмущается таким презрением к умственному труду и, судя по тому, как он продолжает беседу, можно даже заключить, что он в конце концов согласен с ней. Если мы задумаемся над этим, то поймем, что это и не может быть иначе, ведь у вынашивающего свой фантастический план студента в действительности нет веры в силу разума, интеллектуальное усилие он считает в конце концов магическим, дьявольским фактором, внесоциальным проявлением и, в конечном итоге, преступлением. Для гуманиста этого времени уже окончательно потеряла силу та, прежде актуальная, интуиция, которая со времен готики определяла европейское мышление -- а именно, что только один свет разума в конечном итоге может привести человека к божественной истине, -- что свидетельствует об углублении и обогащении индивидуального проблемного сознания.

Раскольников не видит оснований верить в то, что разум может осмысленно, личностно соединить его, свободно мыслящего человека, с миром Настасьи или квартирной хозяйки, взяточника Заметова, или Лужина и Свидригайлова. Он как бы признает правоту Настасьи в том, что мышление, каким он его знает, и деятельность, как она ее осуществляет, отделены друг от друга пропастью, и что разница между ним и Настасьей только в том, что он находится на одном краю пропасти, а она и весь мир -- на другом.

Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать. -- А ты в колодезь не плюй. /I, 3/ Речь идет о колодезе жизни, который замутилен бьющимися в тисках практики, овеществленного, отчужденного существования, или просто злыми, людьми, и о котором требующий любой ценой неограниченных прав для индивидуума Раскольников на каждом шагу забывает. Настасья, в определенном смысле защищенная в плане спиритуальном своим незнанием, своей душевной и духовной несамостоятельностью, выступает в роли человека, как бы охраняющего этот источник от истощения, замутинения. В свободном от иллюзий тексте "Преступления и наказания" относительная правда Настасьи, уравнивающая правду Раскольникова, не мистифицируется, не выходит за отведенные ей пределы, и здесь не может быть и речи о том, что мы должны видеть в служанке квартирной хозяйки носительницу древней народной мудрости, останавливающую заблудившегося интеллигента. Афоризм Настасьи совершенно очевидно соотносится в сознании Раскольникова с тем обвинением, которое он недавно предъявил Мармеладовым /"какой колодезь сумели выкопать!"/, и предупреждает героя о том, что несмотря на верную сущность обвинений, у нас все же нет права с презрением относиться к жажде жизни, исходя из одних интеллектуальных представлений. Верно, что нет такой морали, которая оправдала бы Мармеладовых, но для оценки их человеческой ценности морального оправдания и не

нужно, ведь по сравнению со всегда действительно ограниченными моральными оценками человеческая полнота относится к не становящемуся путем личностных, индивидуальных усилий аутентичным бытию. Такие, пронизывающие весь роман, соответствия мотивов, их возведенная в композиционный принцип игра, призваны акцентировать поставленную в центр произведения мысль о том, что вся полнота гуманных проблем превышает интеллектуальные, чувственные и физические возможности любого отдельного человека, и потому не только невозможно, но и одновременно бессмысленно любой ценой стремиться к ее индивидуальному, интеллектуальному, личностному охвату. В противовес поздним большим романам Достоевского бессознательные факторы, которые присущи герою, знаменуют здесь не распад его личности, неограниченную власть над ним подсознательных впечатлений, а отжитость представления о сознании как о замкнутой системе.

Но Дуня даже с досадой отвечала..., что "слова еще не дело", и это, конечно, справедливо. /I, 3/ Дуня, которая любой ценой хочет помочь семье, пытается оправдать даже очень и очень преследующую определенную цель грубость, неотесанность Лужина. Раскольников же склонен к тому, чтобы непременно отождествлять слово и дело, не только в случае Лужина, которому, как мы знаем, не нужно преодолевать никакого внутреннего сопротивления для выполнения своего подлого плана, но и тогда, когда, осознав злое намерение, родившееся в его собственной душе, он, несмотря на пережитое им безмерное страдание, заранее считает себя преступником. Хотя брат и сестра судят по-разному -- неопытная девушка считает всех людей хорошими, юноша же, знающий жестокие законы жизни, склонен во всем видеть дурное, -- их поведение все же родственно друг другу: поскольку ни тот, ни другая не признают человеческого значения разверзающегося между словом и делом безличного пласта практики, оба абсолю-

тизируют роль суждений совести, оба чувствуют себя в полной мере ответственными за другого человека. Чувство ответственности побуждает девушку снимать вину со элых, оправдывать Лужиных и Свидригайловых, Раскольникову же оно диктует безжалостное, не считающееся ни с какими обстоятельствами, осуждение самого себя.

И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиньи перья, но последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хотя предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. /I, 4/. Раскольников с горечью упрекает мать -- и, отчасти, сестру -- в том, что она неразумно успокаивает себя, не хочет видеть того, что есть на самом деле. Так называемая "неразумность" матери, ее шиллеровский идеализм, однако, по сравнению с "умом" Раскольникова, по сравнению с представлением о человеке, развертывающимся в его теории, означает не только отрицание исторической действительности овеществленного, отчужденного человеческого существования, но и -- хотя и в безусловно отжитой форме, -- свидетельствует о представительстве тех традиционных человеческих ценностей, нести которые, как это выясняется как раз из начинания самого Раскольникова, ум больше не может, и без которых человеческий феномен гармонически не может развиваться.

Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чем вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст... Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. /I, 4/ Раскольников с тонким моральным чутьем верно считает, что вступать в брак

по расчету недопустимо не только в целях облегчения своей судьбы, но нельзя продавать себя и для другого, любимого человека, таким образом вовсе не его обостренная гордость заставляет его отказаться от жертвы сестры. Находящегося в смятенном состоянии духа молодого человека особенно раздражает стремление Дуни сохранить при выполнении своего плана с помощью особой казуистики видимость этичности, оправдать действительность морального миропорядка. Занимающий свою интеллектуальную позицию и стремящийся сделать из нее практические выводы Раскольников реагирует на такие, отличные от его собственных, попытки со страстным протестом. В то же время он, конечно, высоко ценит героическую решимость сестры, так похожую на его собственную, даже если эта героическая готовность, как и его собственная, временно ведет их обоих по неправильному пути.

Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! /I, 4/ Сближение образов Сони и Дуни -- одно из проявлений действия системы двойников, объединяющей изображенные в романе образы, один из примеров ее осуществления. Сама же система двойников в целом может рассматриваться как частный случай системы мотивов, пронизывающих ткань романа: то, что характерно для одного, относится и к другому.

Или отказаться от жизни совсем! ... послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить! /I, 4/

Раскольников здесь говорит о жизни в другом смысле, чем впоследствии говорят о ней Порфирий и Соня, которые советуют ему признать свою вину перед законом, так как в противном случае "не будет ему жизни", или как позднее он сам, когда признается, что приняв свой план, он убил самого себя, "как ножница-

ми отрезал себя" от всего. В первом случае обладающий самосознанием, несущий сознание своей отдельности индивидуум обращается к жизни и хочет наслаждаться ее дарами для самосуществления, в последнем же -- ощущающий свои пределы, отрицающий самого себя, но не способный выйти из замкнутого круга, преодолеть индивидуальную отъединенность, устранить противоречие между традицией и интеллектом внутри своих границ индивидуум ощущает, что его отдельное существование обеспечено за счет стоящих вне него и общих для всех благ. Эпилог романа, отражая тогдашние иллюзии автора, как бы внушает, что самоотрицание индивидуума принесет полное разрешение проблем Раскольникова. Анализ в следующем большом романе, в "Идиоте", однако, выявляет преувеличенность этих ожиданий, вернее, показывает слабости выдвинутой автором программы индивидуального самоограничения, демонстрирует, почему она в конечном итоге не применима для выработки норм аутентичного поведения.

От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина чем-то их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? /I, 4/ Раскольников страдает из-за постигших его семью испытаний; его боль, его беспокойство понятны, правомерны. И все же, боясь за своих любимых, он в конечном итоге не достаточно ценит и их, и свой человеческий квалитет, когда рисует их положение безнадежным, когда полагает, что нельзя помочь матери и сестре, или, что он ничем не может им помочь. Лишения, материальная зависимость не сломили ни мать, ни сестру; моральная поддержка Раскольникова помогает Дуне увидеть свое заблуждение, да и сама она находит в себе достаточно стойкости, чтобы пережить кризис. Смятение же матери объясняется не непосредственно тяжелым положением, а ее "шиллеровским прекраснотушием", неспособностью взглянуть в лицо тем человеческим проблемам, которые возникли в связи с тяжелым по-

ложением. Одна из характерных особенностей романов Достоевского -- выдвижение на передний план социального вопроса, его заострение, но это стремление у него всегда сопровождается мыслью о том, что только одними материальными средствами, исключительно социальным путем, человеческие проблемы не могут быть решены. Основная непоследовательность мышления Раскольникова, его поведения заключается как раз в том, что, в то время как его теория придает исключительное значение власти сильных, захвативших материальные блага, все его существо есть смелый протест против жестокого насилия, закабаляющего человечность.

...да и мысль эта была совсем не вчерашняя... месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде... /I, 4/ Мысль, план, которыми он до сих пор играл, которые и до сих пор его занимали, теперь, под влиянием еще более грозных испытаний, постигших его родных, осмысляются им как "крайняя ситуация" -- так как, применяя исключительно отвлеченные схемы ума, забывая о своей живой личности и о моральной силе своих близких, он неверно понимает создавшееся положение, -- и потому вдруг предстают перед ним в гораздо более сильной, чем прежде, форме приказа; поскольку же его цельная, гармоничная натура и теперь не может принять этого приказа, он звучит для него как приказ какой-то чуждой ему, дьявольской силы. Эта чуждая, злая власть, однако, ясно не отделима от его "я", что грозит ему раздвоением, распадом.

А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких... Но не много таких пошло. По виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня... /I, 4/ Достоевского в большинстве случаев интересует не вообще нищета, а судьба неожиданно обедневших семей. У него люди становятся униженными не просто под влиянием

нищеты, а в результате несоответствия между тем уровнем культуры и цивилизации, на который они претендуют, и их материальными возможностями. Настасья, например, прислуга квартирной хозяйки Раскольникова, которая ничего, или почти ничего, не знает об определенном круге человеческих потребностей, не чувствует себя ни униженной, ни незаслуженно бедной. Принадлежность пьяной девочки на улице к "благородной" семье, "нежность" ее лица, ее вид "барышни" -- безусловно такие человеческие ценности, которые следует уважать, не относясь при этом свысока, с презрением к таким людям, как Настасья и ей подобные, ведь отрицание ценностей обязательно ведет к бесчеловечности. Поэтому особенно бесчеловечен тот господин, который, используя положение, видит в этой девочке редкую добычу и преследует ее в надежде на особое приключение. Ведь совершенно очевидно, что здесь речь идет не о том, что этот случайный кавалер не может или, следуя какому-то принципу равноправия, не хочет видеть разницы между обычной уличной женщиной и этой девочкой, а как раз о том, что он эту разницу очень даже видит, и именно это различие, извращенное желание опозорить ценное, возбуждает его интерес. В определенном смысле и Лужин выбирает Дуню на основе сходных мотивов, когда не только хочет, чтобы его будущая жена была у него в подчинении из-за своей бедности, но и чтобы эта униженная жена была бы красивой, умной и интеллигентной, более красивой, более умной и более интеллигентной, чем он сам.

И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем -- мне-то чего? /I, 4/ Когда Раскольников, следуя первому естественному внутреннему побуждению, помогает неожиданно появившейся на улице пьяной девочке, его элит, что он действует в разрез со своей теорией, и тоже оказывается "шиллеров-

ской прекрасной душой", человеком, который поступает так, будто верит в существование морального миропорядка и хочет удостовериться его существование. Он не в состоянии понять, что действия автономной личности не нуждаются в интеллектуальном подтверждении, и что нельзя позволять, чтобы в принципе правомерный запрос полноты ограничивал действие автономии. Хотя он и не может искоренить в мире несправедливость, его задачей, обязанностью хотя бы по отношению к самому себе, является представительство справедливости в тех положениях, в которые он оказывается поставленным жизнью. В противном же случае человек теряет способность к моральной ориентации, равновесие его личности нарушается, и в конечном итоге он становится не способным быть и носителем запроса полноты, которому он отдает предпочтение.

Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то ... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. /I, 4/ О широте кругозора Раскольникова, об охвате им человеческой проблематики в целом свидетельствует то, что он не довольствуется какой-либо одной точкой зрения, всегда знает и о противоположной и, выступая с запросом единства, страстно сталкивает их друг с другом. В одну и ту же минуту он упрекает себя за то, что "ввязывается" в дела, в которые не имеет права вмешиваться, и насмехается над своей научной точкой зрения, заставляющей его объективно оценивать социальные явления. Герой, однако, не является распадающейся личностью, отказывающейся от задачи объединения ощущаемых им в самом себе противоречивых проявлений или уже не имеющей возможности дать себе отчет в этих противоречиях. В формировании его теории именно под влиянием живого запроса единства оба фактора играют определенную роль, теория, однако, не может

быть пригодна для формирования норм аутентичного поведения, так как соединение этих двух факторов внутри теории бессмысленно, иррационально, они соединяются друг с другом без того, чтобы герой отдавал себе отчет в задаче их личностного объединения. В мышлении Раскольникова иррациональность станет преодолимой только в том случае, если ему удастся увидеть, что объединение противоречий по самой природе человеческих проблем требует не одних интеллектуальных усилий, когда таким образом станет интеллектуально освещаемым не основывающееся на интеллекте, не подчиняющееся интеллекту действие традиции.

Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость /I, 5/.

Достоевский как будто сознательно актуализирует изначальное, первичное, этимологическим путем выводимое значение отвлеченных понятий "развлекаться", "развлечение". История значения слова свидетельствует о том, что стремление к развлечению как к определенной форме поведения есть следствие чрезмерной, целенаправленной, целеустремленной установки. Интенсивность, частота и действенность целеустремленных усилий Раскольникова возрастает в такой мере, что искусственно созданная для их уравнивания форма поведения, сознательное "развлечение" уже не может сыграть своей роли, не в состоянии восстановить меру. Присваивая себе, полагаясь на интеллект, роль Демиурга, ставящий перед собой сверхчеловеческие задачи, "человеко-бог", разумеется, не признает никакой меры.

Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перашли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какою-нибудь

изукрашенной в зелени дачей, смотрел в ограду, видя вдали, на балконах и на террасах, разряженных женщин и бегających в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пыльные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами... /I, 5/

Раздражение Раскольникова, его возмущение при виде явных фактов общественной несправедливости вполне понятны, вполне человечесны. Почему бы ему не желать для своей нищенствующей семьи или для семьи Мармеладовых, с их потрясающей судьбой, всего того красивого и изящного, что раскрывается перед его глазами в волшебном квартале загородных дач, и о существовании чего, живя в нищем районе города, уйдя в мучительные мысли, он почти забыл? И почему бы ему не стремиться -- хотя бы даже и силой -- изменить это неприемлемое для чувства человеческой справедливости положение, дать свободу уничтожающему огню гнева, бушующей грозе возмущения, стихийным силам страсти, если он убежден в том, что всем его существом движет потребность в осуществлении всеобщей справедливости и свободы, что он хочет правды "во имя народа"? Раскольников, однако, не отводит настоящей роли этим импульсам: он выступает не от имени народа, не от имени людей, отданных в рабство материи, не могущих добиться духовной свободы, лишенных возможности формирования аутентичного поведения, не с ними, не вместо них, не за них, артикулируя их немые страдания, их уродливые потуги, а в заблуждении превращает иррациональные аффективные факторы, обманывая самого себя,^В скрытую мотивацию своих интеллектуальных усилий, и таким образом вместо того, чтобы кого-либо освободить, сделать человеком, готовым к осуществлению требований аутентичного поведения, лишает самого себя, свое существо, наделенное всеми возможностями свободы, способности к осуществ-

влению аутентичного поведения.

Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка... /I, 5/

Позднее Раскольников облакает в точные слова то, что здесь передается через сон, через символы: общественные усилия одинокого, не имеющего исторического призвания человека, жалки, безнадежны. Он не историческая личность, не "Наполеон", его отчаянные попытки -- хотя бы с точки зрения их общественно-исторической результативности -- заранее обречены на неудачу.

Заморишь! ... -- Не трожь! Мое добро! Что хочу, то и делаю. Сядись еще! Все сядись! Хочу, чтобы беспрерывно вскачь пошла! ... /I, 5/.

Запутавшийся в своих проблемах и не находящий способа соответствовать своему человеческому назначению Раскольников в отчаянии мучает себя. Он жестоко истязает свою тело, душу и потерявший способность к осмысленной ориентации разум. Его сновидение говорит о том, чего герой еще не признал, а именно о том, что его тело и душа -- не только его персональная собственность, а часть единого человеческого феномена, который он не имеет права подчинять самовольным приказаниям ума.

Господи! -- молил он, -- покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей! /I, 5/. Мольба Раскольникова вновь подтверждает, что и в состоянии крайнего отчаяния он все же остается цельным, гармоничным существом, что он не потерял способности к правильным оценкам, даже если ему еще и не удалось разрешить свои проблемы. Раскольников тоже настоящий человек, как гетевский Фауст, хотя он и не знает "верного пути", хотя его интеллект, его вера и не ведут его твердо и уверенно по дорогам жизни. Заблуждения индивидуума, иллюзорность сознания возможности решения личностных проблем силами индивидуума

в романе Достоевского питается эмпирическим характером русской культуры, и это роднит его произведение не с рационалистической по своей концепции "Божественной комедией" Данте, или с "Фаустом" Гете, а с "Гамлетом" Шекспира, или с "Дон Кихотом" Сервантеса.

... Раскольников в последнее время стал суверен./I, 6/ Наде-
ляющий интеллект абсолютной тиранической властью Раскольников
отрицает случайности. Когда же он осознает, что какой-либо
заранее не учтенный фактор все же способствует осуществлению
его плана, он объясняет эту благоприятную и тотчас же исполь-
зуемую им случайность как помощь "черта", как действие темных
сил /ведь для интеллекта они не проницаемы, интеллектуальным
требованием ясности они не отвечают/, ставших ему на службу.
Хотя по своему первоначальному намерению он требовал от себя
лишь примирения с безграничной властью бесстрастных закономер-
ностей разума, теперь, по мере того, как перед ним раскрывает-
ся иррациональность его концепции, он ощущает в распадае своей
личности реальность власти над собой какой-то злонамеренно от-
рицающей все человеческое силы. Появление этой магической,
дьявольской силы является мстью за то, что, решительно разру-
бив гордиев узел, он слишком легко, слишком просто хотя и ос-
вободился от неприемлемых для человечности факторов, подчинил
человеческий феномен контролю в конечном итоге бессильного дать
абсолютные гарантии интеллекта. Несмотря на чистоту субъектив-
ных намерений, он все же должен считать себя преступником, так
как мечтая о лучшем будущем для всего человечества, он вынуж-
ден по примеру знающих с дьяволом алхимиков жить иллегально,
бояться разоблачения, ведь дьявольские средства, используемые
для достижения благородных целей, не выносят света человечес-
ких отношений. Как когда-то Фауст, Раскольников вынужден продать ду-
шу дьяволу, но в его трагедии отсутствует безусловная уверенность

в спасении, так как дьявол и бог, герои заключенного на небесах договора, как необходимые для охвата мыслью всего человеческого феномена имажинационные факторы, с эмпирической позиции, не удовлетворяющейся формальными понятийными решениями и обязательно требующей опытного подтверждения, гораздо менее ощутимы, гораздо менее могут считаться реальностями.

... Лизвета поминутно была беременна... тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша /I, 6/. Соня, которая покорно смиряется со своим вынужденным положением, возникшим по вине ее родителей, и сознательно принимает на себя их вину, подчиняет себя обстоятельствам. Что же касается полукривой Лизаветы, то ей и не нужно считать себя виновной, так как в результате ее тупости у нее нет сознания потери ценностей, отказа от них. Ее, такую "безответную" и одновременно такую запуганную, такую униженную, что она даже не поднимает руки, чтобы отвести удар топора, мы можем считать в конечном итоге олицетворением самого полного добра, самой полной любви. В то же время это, конечно, и карикатура, так как образ этой постоянно беременной, несчастной помешанной наглядно демонстрирует бессмысленность состояния совершенной безгрешности, безусловной, возведенной в ранг абсолютной ценности, любви: в образе Лизаветы мы должны видеть как бы Надругательство над "образом божьим". Как раз ее образ доказывает, что дикие побег может давать не только сознательное индивидуальное поведение /как это доказывает пример Раскольникова и о чем, в конечном итоге, и говорит роман/, но и противоположное, пассивное поведение человека, отрицающего самого себя. Не только Раскольников ставит под угрозу, стремясь исполнить свой план, способность к автономным проявлениям, уродует свою личность, но и представительница противоположного типа поведения, Лизавета, изначально лишена автономности,

способности к здоровым моральным оценкам, хотя надо признать, что если мы будем считать единственной непосредственной целью "земного" бытия "спасение", то есть сведем задачу выработки аутентичного поведения к сохранению душевного переживания идентичности, то Лизавете вовсе и не нужна такая автономия. Но, разумеется, такое неразумное и циничное оправдание внутренней карикатурности Лизаветы говорит само за себя и лишь подтверждает необходимость гуманистической концепции нового времени.

... да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках. /I, 6/ Мы либо безусловно доверяем природе, включая и человеческую природу, и видим в ней последнюю ориентирующую нашу деятельность силу, либо не верим в нее, и не имея лучшего ориентира, став на скептическую точку зрения, отказываемся от права на автономную, суверенную деятельность. Потерявший веру, но приверженный отжитой модели деятельности гуманист, приравнивающий свое поведение к теперь уже обезличенно, бессмысленно, механически действующему интеллекту, становится бесчеловечным, что неприемлемо и для него самого. Если у нас нет больше причин искать в природе обеспечения осмысленности человеческого бытия, то у нас нет и права называть традицию предрассудком: такая критика оборачивается против самой себя, являясь ничем иным, как возведением бескритичности в ранг закона.

Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или нет? -- Разумеется, нет! Я для справедливости... Не во мне тут и дело... -- А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости! Пойдем еще партию! /I, 6/ В случайно услышанном разговоре в распивочной второй голос требует исполнения задуманного, подобно тому, как и Раскольников обвиняет себя в том, что он лишь играет словами. И действительно, такой план, такое утверждение, которые

ни к чему лично не обязывают их создателя, немногого стоят. Однако, верно ли, что какое-либо утверждение становится истинным только потому, что его каким-то путем удалось подтвердить на деле, верно ли, что факты обязательно, непременно и в полной мере являются свидетелями истины? Новое положение вещей, сложившееся в результате насильственного вынужденного действия, совершенного без личного обязательства, не оправдывает плана так же, как и действительное убийство старухи-процентщицы не доказывает пост-фактум правильность замысла Раскольникова. Исполняя свой план, он приходит не к истине, а берет на себя ужасный духовный и душевный груз, против своей воли приводит в движение темные силы лжи. Именно поэтому человек, сформулировавший в расписочной задание, поступает более разумно, когда, не углубляясь в дилемму, а, принимая предложение своего товарища, идет играть "партию"; более разумно, так как тем самым предохраняет себя и других от многих страданий, однако, уход от дилеммы превращает его самого в нечно невесомое. И в самом деле, что это за искатель справедливости, который полагает, что справедливость можно обрести просто так, небрежно, между двумя "партиями", у которого нет сознания, что для решения жизненных вопросов необходимо собрать всю энергию личности.

Он думал о главном, а мелочи отлагал до тех пор, пока сам во всем убедится. Но последнее казалось решительно неосуществимым. /I, 6/ Раскольников не понимает, что убеждение имеет личностный характер, ошибочно считает формирование убеждения интеллектуальным процессом, который можно рационально учесть. Он полагает, что убеждение "я", формирование этого убеждения, относится к кругу сознательного, "высшего" "я", занимающего исключительно интеллектуальную позицию. Он ни на секунду не за-

думывается над тем, что убеждение складывается в зависимости от природы данных проблем, и что здесь решающая роль принадлежит спонтанности, личностно характеризующему человека, обеспечивающему его автономию -- и несмотря на произвол ума, то есть не по вкусу, не по произволу выбранному опыту. Поэтому-то он и называет жизнь "случайностью", что с его однозначно рационалистической точки зрения роль импульсов незначительна, и потому-то он и считает традицию "предрассудком".

А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений. Но в последнем случае он просто не верил себе и упрямо, рабски, искал возражений по сторонам и ощупью, как будто кто его принуждал и тянул к тому. /I, 6/ Теория, и это вполне очевидно, не приспособлена для того, чтобы направлять поведение Раскольникова, но все же было бы преждевременно делать из этого факта вывод о том, что его теория бесполезна, что его интеллектуальное достижение, провозглашающее моральный релятивизм, просто глупость, или что со стороны героя пытаться согласовать свое поведение с ним -- бесполезное занятие. Ценность любого интеллектуального достижения определяется не только тем, в какой мере с его помощью человек может обосновать свое личностное убеждение, веру, осмысленное поведение, ведь как бы ни было жизненно необходимо урегулирование личностных проблем, историческая задача превращения бытия в аутентичное не может быть решена только путем такого урегулирования. Интеллектуальное достижение отнюдь не только конструктивно, и даже, если смотреть с точки зрения его вечного столкновения с традицией, а также с точки зрения частичности, случайности его соответствия традиции -- вовсе не конструктивно. Таким вы-

являющим универсально неразрешимое противоречие между интеллектом и традицией интеллектуальным достижением является и теория Раскольникова. Таким образом, исключительно с интеллектуальной точки зрения -- безусловно ошибка со стороны героя его поведение, недостойное "философа", его стремление во что бы то ни стало вовлечь свою теорию в урегулирование личностных проблем, в разрешение жизненных вопросов, то есть оценить свою теорию в конечном итоге с точки зрения практической пользы. Герой Достоевского, который по собственному признанию не родился "великим человеком", по сравнению, скажем, с Ницше, считает своей первоочередной задачей не интеллектуальное представительство своей теории, а урегулирование своих личностных проблем. Однако, по сравнению с достижением Ницше произведению Достоевского придает особое, и, по нашему убеждению, большее значение, то, что одновременно с настоящей ролью интеллекта, с его действительной природой оно дает почувствовать и роль традиции, и тем самым, несмотря на известный риск, показывает и смысл личностных усилий, которые должны быть всегда направлены на то, чтобы привести в согласие интеллект и традицию, и в то же время не обладают возможностью достичь этой цели своими силами.

Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать.

/I, 6/ Исполняющий приказы в соответствии со своим планом Раскольников действует механически, так как в его случае разрабатывающий планы разум, как бы он ни был благороден, как бы он ни стремился к свободе от предрассудков, никогда не может до-

стичь своих целей, так как он не может быть личностным. Анализы в романе показывают, что только разум, движимый личными побуждениями, может быть действительно чистым, свободным в кругу своих проблем от рождающихся в сфере практики, не принимаемых во внимание интеллектом и потому вводящих мышление в заблуждение импульсов. Только при личностной позиции содержательные /чувственные, телесные/ моменты гармонически совмещаются с чистыми формами интеллекта, только в этом случае они не мешают идеальному действию разума. Движущийся, действующий механически, то есть обездушенно, герой выполняет свое задание отнюдь не безукоризненно: механическое свершение есть лишь карикатурная, неумелая копия безупречного человеческого свершения. Основанное лишь на доводах ума действие, даже и с исключительно интеллектуальной точки зрения, стоит на гораздо более низком уровне, чем то, в которое его исполнитель вкладывает "душу и сердце".

... он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им -- "не преступление"... /I, 6/ Раскольников будет глубоко презирать себя за то, что ему не удалось преодолеть сопротивление души и тела, так как, как он полагает, именно поэтому он до конца не мог сохранить свособность к суждениям, волю. Самообвинение, презрение к себе, однако, если в этом случае и можно говорить о справедливости, справедливы разве только отчасти, но скорее всего, все же бессмысленны, ведь в конечном итоге его, еще менее совершенные, чем обычно, способность к суждениям, воля, порождены как раз абсурдным желанием не считаться с чувственно - физическим фактором, исключить его. То, что герой думает о

деятельности, свободной от предрассудков, о безукоризненном преступлении, не является осмыслением на новых основах сложившегося положения; все это свидетельствует об отвержении гуманистической программы, стремящейся охватить все человеческие проявления, и может рассматриваться как вывернутое наизнанку, ограниченное, бессмысленно сужающее человеческий феномен мировоззрение мещанства. Если по убеждению "доброго мещанина" бог заботится об успешности честной работы и о спокойном вкушении ее плодов, то есть мудро поддерживает, и вместе с уважающими закон людьми может поддерживать, равновесие ума, чувства и деятельности, то по мнению Раскольникова, высмеивающего эту мещанскую мораль, но не способного творчески применить гуманистическую традицию, и потому увязающего пока еще в схемах мещанского мышления, в мире тех, кто стоит вне закона, вполне может быть осуществлена интеллектуализация человеческого бытия. Идеализирующий существование в рамках закона мещанин, с его узким сознанием, не желает считать людьми тех, кто стоит вне закона; отталкивающийся же от мещанского сознания, но в действительности не способный преодолеть его, Раскольников приписывает таким людям сверхчеловеческие качества. Если бы герой последовательно отказался от той фикции, согласно которой человек в каком-либо абсолютном пространстве и времени на основании принятого им морального или интеллектуального решения может либо быть с законом, либо стоять вне закона, фикции, согласно которой истина для всей обнаруживает себя, создавая однозначные для выбора положения, то он отказался бы и от катастрофического для него тяготения к мещанскому сознанию. Он бы увидел, что преступник -- не интеллектуал, как он считает, исходя из самого слова "преступление", что преступление не есть проявление -- хотя и абсурдное -- "чистого разума", а что преступление -- это определенного рода занятие, которое знает свои приемы, и что успеха на этом поприще человек может добиться

ся лишь в том случае, если он войдет в свою роль, добросовестно овладеет всеми приемами своей профессии, и будет ценить какой-либо особый трюк не только с точки зрения пользы, но и как самоцель, за его "красоту". Именно поэтому преступник не свободен от целого ряда условностей жизни, он тоже вынужден окружить себя реквизитом, относящимся к сфере преступного мира, атрибутами своей профессии, и, делая это, он неизбежно подчиняется и ее конвенциям. Как и в заслуживающих уважения занятиях, и здесь максимальные способности, понимание своего дела и старание не обязательно приносят наилучшие результаты, то есть поскольку условия успеха преступления не чисто интеллектуальны, нет и идеального преступления.

И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. /I, 7/. В какое же абсурдное положение поставил себя Раскольников! Он стремится сохранить любой ценой ясную способность к суждениям и закалить, как сталь, свою волю -- намеренно, в целях успешного выполнения своего плана, -- но успешно сделать свое дело он может в конечном итоге лишь потому, что "глупо" не видит дальше своего носа, потому, что его в полной мере связывает то, что он делает в определенную минуту, и он забывает о целом ряде вещей, в том числе об элементарно важных с точки зрения поставленной цели факторах. Преступник, как видно, должен быть не столько умным, сколько скорее в определенной мере тупым, бесчувственным, не обладать

развитым сознанием, ведь порядок, который он отвергает, не является порядком какой-то чуждой человеку власти, не с такой неположной властью он должен совладать своими силами: закон живет и в нем самом, и ему приходится заглушать его в самом себе, даже и в том случае, если этот закон путем интеллектуальных усилий невозможно вычитать в человеческой природе, даже и в том случае, если духовно-душевные блага интеллекту сообщает традиция.

А сколько я налгал и наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то!... /II, 2/

Когда гордый, обиженный на весь мир и на всех людей Раскольников ушел в свое "подполье", его решение было мотивировано и тем, что он не хотел унижаться, лгать другим, при случае играть роль шута для того, чтобы облегчить свою жизнь. Теперь же, когда в соответствии со своим планом он убил старуху-процентщицу, он все же вынужден это делать. Можно, конечно, сказать, что это совсем другое дело -- совершить что-либо во имя сознательно поставленных перед собой великих целей, или сделать что-либо только для того, чтобы как-нибудь прожить. По всей вероятности, он именно об этом думает, когда успокаивает себя тем, что это "совсем не то". Но действительно ли такая большая разница между прежде отвергнутым, а теперь принятым положением? Вернее; действительно ли разница говорит в пользу последнего? Нежизнеспособный план, цель, которая не может стать действительно личностной, не дают герою внутренней уверенности и поэтому ни в коей мере не могут служить оправданием обрушившихся на него испытаний.

На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер

раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам /неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят/, злобно заскрежетал и зашелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех... он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги... -- "Прими, батюшка, ради Христа!" -- Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил. /II, 2/ Значение этого библейского по настроению эпизода, по всей вероятности, не сводимо лишь к тому, что вот, дескать, куда привел честолюбивый план бунтаря-Раскольникова: тот, кто считал себя Наполеоном, хотел быть господином мира, унижительно перед всеми оскорблен, его принимают за нищего, за бродягу и, наконец, жалеют, подают ему милостыню. Ведь это была бы слишком простая, не соответствующая аналитическому методу Достоевского, его сложным философским построениям, ходячая сентенция. Скорее всего, здесь нужно думать о том, что и в том случае, если считать реакцию героя /он бросает деньги в воду, злобно скрежещет зубами/ морально оправданной, и в том случае, если -- нет, как неприемлемо для этого человека, несущего запрос полноты, обладающего сознанием и чувством своего достоинства, подчинение бесформенному массовому существованию. Уже сам замысел Раскольникова показывает, какой элементарной силой обладает протест, захватывающий все его существо, да и после совершения убийства в этом плане ничего не изменилось. Было бы заблуждением, конечно, и утверждать, что Раскольников привередничает, считает недостойным своего ранга смешиваться с толпой, презирует простых людей, ведь он так Самозабвенно, так естественно движется среди них, что иногда и сам не замечает, куда идет, с кем встречается

ся, как он одет. Однако, у него совсем нет уверенности и готовности сознательно принять на себя свою роль, нет "аристократического" чувства ответственности, которое ясно и определенно сказало бы ему, что эти люди все же его "народ", что его задача -- заботиться о них, интересоваться ими, что он не какой-то самозванный благодетель народа по воле, что он знает что-то безусловно важное и потому и может им помочь. Только такое, отсутствующее у героя, сознание своего призвания может сделать осмысленным существование человека, выделившегося из толпы за счет пробуждения самосознания. Это аристократическое сознание своего призвания, совершенное владение всеми сокровищами традиции, необходимое для гармонического приведение в действие культуры, дает возможность герою Толстого, о. Сергию, сделавшись странником, принять сообщество со своим народом, и, как залог такого сообщества, не чувствовать унижительным принятие милостыни, -- сознание своего призвания прежде всего, и только во-вторых -- покорность. Но разве Раскольников не мог бы быть покорным, если бы в его положении покорность имела бы хоть какой-нибудь смысл? Ему же, если он хочет остаться человеком, если он не хочет совсем потерять себя, нужно оставаться гордым, гордым любой ценой, ему "нечем" покоряться.

Когда он ходил в университет, то обыкновенно, -- чаще всего, возвращаясь домой, -- случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. /II, 2/. Панорама Петербурга, столи-

цы Петра, прорубившего "окно в Европу", города, построенного в холодном, северном стиле классицизма, действует на Раскольникова угнетающе, так как для него этот город является символом тех пришедших с Запада идей, которые он, исходя из своих, характерных для плебея, переживаний, не может ни по-настоящему привести в гармонию с русской традицией, ни радикально преодолеть. Творение Петра, модернизация русского общества для него означают фантастические испытания, похожие на те, которые были уготованы маленькому человеку в поэме Пушкина, где Медный Всадник доводит до безумия безнадежно пытающегося убежать от него героя. Вводящий новшества царь-и воплощенная в его лице царская власть-означает вызов маленькому человеку не столько как тиран и угнетатель, как зачинщик физических принудительных мер: об этом скорее можно говорить в случае требующих конституционных реформ аристократов, декабристов. Вызов носит, в первую очередь, духовный, интеллектуальный характер. Достоевский, присоединяясь к пушкинскому начинанию, берется за аналитическое исследование этого вопроса, хотя, в соответствии с природой художественного произведения, считает своей задачей не предложить понятийные решения, а запечатлеть опыт, данный ему историей развития мысли: к "разгадке" впечатления не чувствовал себя призванным не только Раскольников, но и сам Достоевский.

Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало и в то же время сдвинуло грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все... /II, 2/ Вопросы, которые так угнетали его, и которые представлялись такими важными, оказались неуловимыми для

интеллекта, для обычных философских, эссеистических или публицистических методов исследования. Они были связаны с более глубокими пластами его существа, чем его теория, которую он впоследствии разработал, не имея возможности даже поставить настоящие вопросы, или тем более, чем его план, который он вынашивал в своем углу, разменяв по мелочам полуистины своих идей. Воспоминание, вызванное панорамой города, теперь дает ему возможность ощутить, как далеко он ушел от первоначальных вопросов и мыслей, и если эта разница и обескураживает его, он все же не пропащий человек, так как он эту разницу видит и с целостным чувством, с болью в душе переживает ее. Он ушел далеко, опустился глубоко, но не потому, что он что-то упустил, не потому, что существовал другой, более короткий и достойный путь к решению проблем, а только потому, что он не желал отказываться от решения безусловно превосходящих его силы вопросов; это было его заблуждением, но заблуждением по-человечески очень понятным, так как он упрямо, любой ценой, даже нарушая границы здравого смысла, принял сообщество со своим ставящим вопросы "я", со своей интеллектуальной потребностью.

-- Не надо... денег... -- Это денег-то не надо! Ну, это, брат, врешь, я свидетель! Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так... опять вояжирует. /II, 3/ Раскольников отказывается от присланных матерью денег, Разумихин же считает, что его другу деньги нужны непременно. Деловитый Разумихин не принадлежит к числу людей, с важностью ведущих принципиальные споры, поэтому он, спасая положение, сглаживает существенную разницу в позиции между ним и Раскольниковым с помощью шутки. "Врешь", -- говорит он, как будто не понимая точки зрения своего друга, как будто полагая, что тот считает себя богатым, или же с какой-то особой целью хочет, чтобы его считали бога-

тым, хочет, чтобы казалось, что присланные деньги ему не нужны. Все же в другом, переносном смысле шутка Разумихина очень даже применима к положению Раскольникова: запутавшийся в своих идеях юноша действительно "врет", когда хочет создать видимость, будто он может представлять и осуществлять какие-либо возвышенные этические принципы. Очнувшийся от многодневной горячки, голодный, оборванный, едва терпимый своей квартирной хозяйкой юноша вовсе не находится в таком положении, при котором уместно создавать этические силлогизмы. Поэтому, чтобы не оказаться смешным, он в следующую же секунду отказывается от своего первоначального намерения.

Принципы!... и весь-то ты на принципах, как на пружинах; повернуться по своей воле не смеет; а по-моему, хорош человек -- вот и принцип, и знать я ничего не хочу. /II, 4/ Практичный Разумихин исходит из опыта, согласно которому принципы, идеи для него всегда существуют отдельно от человека, и втягивают его в такие предприятия, за которые он, полагаясь на самого себя, слушаясь здравого смысла, никогда бы не взялся. Его не занимает тот факт, что принципы, идеи, как это следует из самого понятия, в случае их нормального действия должны говорить человеку как раз то, что он чувствует как свое личное дело.

А прямо-то, во всех-то родах смотреть -- так много ль людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда, со всем с требухой, всего-то одну печеную луковицу дадут, да и то, если с тобой в придачу!... /II, 4/ Безусловно полагающийся на жизнь, которая способна все повернуть к лучшему, Разумихин впадает в преувеличения и, заблуждаясь, торопит отмену всяких критических проявлений. В то же время он очень верно замечает, что в рамках новой позитивистской концепции критика, стоящая не на идеальных идейных позициях, неподтвержденная личностным поведением, а стремящаяся к бесстрастным "научным" утверждениям,

опредмечивает человека, что за неимением настоящих принципиальных основ она распространяется и на носителя критики, на ее субъекта, и таким образом, в конечном итоге, теряет всякий смысл. Так в противовес своему намерению и Раскольников как бы убивает самого себя, когда "применяет критику" к старухе-процентщице, не имея при этом принципов.

Эх вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете! Человека не уважаете, себя обижаете... /II, 4/ Унижение человеческого достоинства в любом другом человеке лишает нас самих человечности -- в этом Разумихин прав. Но, с одной стороны, критика, стоящая на действительно принципиально-идейных основах, означает не унижение человеческого достоинства, а его защиту, с другой же стороны, если мы будем отрицать принципы, если мы не будем сознательно представлять человеческое достоинство, то как мы узнаем, что такое человек, как сможем решать, кто в определенных обстоятельствах является настоящим человеком. Разумихин не только бескритичен в отношении людей, но и слишком полагается на универсальную действенность своего узкого опыта. Это, конечно, само по себе не беда, так как Разумихин -- очень разумно -- не переступает границ опытного круга, который сформировал его поведение, вернее, его личные данные, его духовное наследие не побуждают его переступить эти границы.

-- Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут; вранье всегда простить можно; вранье дело милое, потому что к правде ведет. Нет, то досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. /II, 4/ Разумихин не верит в принципы, то есть, по его мнению, никто не может занять действительно правильную позицию, никто не может представлять справедливость. Однако, ошибочные взгляды, точки зрения нельзя презирать -- считает он в отличие от страстных идейных борцов, -- так как для челове-

ка, верящего в творческую силу жизни, всякое заблуждение, всякое "вранье" есть порог к правде. Нужно только следить за тем, чтобы не быть слишком приверженным заблуждениям, "вранью", чтобы не стремиться возвести их в ранг принципов, то есть не "поклониться вранью", так как тем самым мы искусственно воспрепятствуем естественному и всеобщему движению к истине.

Если мне, например, до сих пор говорили: "возлюби", и я возлюблял, то что из того выходило? т.. -- выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы... Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. /II, 5/

Освещение вещей с исключительно субъективной, моральной стороны, как пример устарелого мышления, или их объяснение, покоящееся исключительно на объективных, научных основах, как пример современного мышления, являются тривиальным, лужинским извращением проблем. В действительности мышление нового времени всегда стремилось к тому, чтобы принять во внимание обе точки зрения, совместить их, даже и в том случае, если в полной мере, в абсолютном смысле, этого никогда не достигалось. Однако, отталкивающая и смешная позиция Лужина является не просто следствием неуравновешенности факторов этики и науки, чувства и разума, нерешенности проблемы их единого и в полной мере удовлетворительного охвата; мы ощущаем, что у него к тому же эти сферы карикатурно смешиваются, подменяют друг друга, поскольку здесь бессознательно проявляется уродливость его натуры: скрывая свою моральную беспомощность, с важной миной и злыми намерениями он привносит ложные мудрости в личные, частные отношения, и в то же время, в сущности совершенно излишне, отягощает рационально осуществимую предпринимательскую деятельность вывернутой наизнанку моральной силлогистикой.

...приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний по-

лучил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспевания. /II, 5/ С мыслью о всеобщем благе, достигаемом через личный интерес, мы встречаемся уже у Декарта. Лужин, хотя и безусловно через многие другие источники, все же цитирует по всей вероятности именно его. Однако, тот же самый тезис в устах Лужина означает нечто прямо противоположное. Декарт верит в свое утверждение, с его духовного горизонта, на основании того опыта, которым он располагает, истинность его утверждения для него очевидна. Это и является причиной того, что французский мыслитель XVII века исследует исключительно лишь способы извлечения выгоды для всех и обогащения отдельного человека в объединенном разносторонними экономическими связями, основанном на производстве товаров обществе. У Лужина, конечно, другой опыт. У него нет возможности доверять тезису, к которому он прибегает из хитрых, манипулятивных соображений, и, более того, он знает, что и его собеседники не могут верить в этот тезис, поэтому, принаравливаясь к положению, он вынужден обратить внимание и на то, каких жертв требует при существующих условиях от членов общества обогащение отдельного человека, призванного за счет своего обогащения обогащать других. Поэтому-то он и вынужден ввести в свое рассуждение пример с разорванным надвое кафтаном и, хотя и попутно, но все же дать почувствовать, что нищий, которому отказали в половине кафтана, вероятнее всего замерзнет, то есть, если тезис Декарта истинен и обогащение общества действительно произойдет, ценой будущего благоденствия, этого долгожданного блага, будет по меньшей мере один-два замерзших или умерших от голода нищих. Однако, хитро манипулирующего позитивистскими общими местами Лужина это не волнует, ему не нужны ни очевидности, ни идеи, его интересуют лишь обладающие необходимым весом позитивные факты.

... страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно... -- чем же объяснить эту с одной стороны распушенность цивилизованной части нашего общества? /II, 5/ Объяснением преступлений в "низших классах" общества служит необразованность, отсутствие широкого интеллектуального кругозора, необходимого для разумного разрешения конфликтов, а также материальная зависимость. Преступность же, распространяющаяся в высших образованных кругах, указывает на то, что отсутствует не личная способность к разрешению конфликтов, а что произошло ограничение общих духовных возможностей, поскольку прекратилась действенность идей, то есть что возникли трудности в согласовании опыта, данного историей развития мысли, или культурной традицией, с интеллектуальным запросом полноты. Оставшийся без идеи, без объединяющей личность веры, без убеждений и самоочевидностей, и в то же время сознательно мыслящий, то есть уже не способный традиционно, конвенционально, бессознательно уважать традицию, порядок, закон, интеллектual оказывается в духовном и душевном вакууме, и ему грозит опасность человеческой деградации, общественной деклассации. Эта опасность угрожает и Раскольникову, ее жертвой становится Свидригайлов.

-- А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить... А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал: "Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть"... на даровщинку, поскорей, без труда! На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть. Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявился чем смотрит... /II, 5/ Разумихин отрицает значение идей и потому не понимает действительных, настоящих причин сложившегося положения, так же, как он не подозре-

вает и о том, что происходит с его другом, Раскольниковым. И все же то, о чем он говорит, не бесполезно. Многие, и даже по всей вероятности большинство тех, кто преступает закон из-за отсутствия идеи, из-за духовной неуверенности, как и приведенный в качестве примера московский лектор всемирной истории, воздержались бы от нарушений закона, если бы их привычки, образ мысли и пример окружающих побуждали бы их к общепольной практической деятельности. Практическая деятельность, "деловитость", предложенная Разумихиным, конечно, никого не излечила бы от болезни, коренящейся в отсутствии идей, но она предохранила бы многих от тяжелых симптомов этой болезни, она сделала бы не такой бурной, не такой скоротечной, не такой губительной эту болезнь. Да и Раскольников, о котором мы знаем, что он вовсе не просто хотел разбогатеть, и который, чтобы спасти положение, любой ценой ищет идею -- правда, идея ошибочным путем, но все же сознательно, -- и Раскольников возможно гораздо менее бы заострял в себе, приближаясь к катастрофическому исходу, действительно вызывающие беспокойство чувства, если бы он ощущал на опыте, что дела пока еще идут все же не так уж плохо, и значит есть еще время для того, чтобы, по-настоящему окрепнув душой и духом, выждав время, когда созреют необходимые условия, приступить к решению глубоко укоренившихся в сознании проблем.

-- Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила...

-- Да об чем вы хлопочете? -- По вашей же вышло теории! ... --

А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет,

что людей можно резать... -- На все есть мера, -- высоко-

мерно продолжал Лужин, -- экономическая идея еще не есть при-

глашение к убийству,... /II, 5/ То, что Лужин говорит об

"экономической идее", -- совершенно справедливо, но он забывает о том, что ему не удастся отделить экономическую идею от вопросов этики, так же, как это не удастся сделать и Расколь-

никову. Герою романа именно потому кажется необходимым убить своими руками старуху-процентщицу, что он видит в этой злой, бесчеловечной женщине полное воплощение экономической идеи, символ фальшивого, но навязанного человечеству закона. Когда он обвиняет Лужина в создании "теории, по которой людей можно резать", он, в конечном итоге, прав по отношению к нему, но в то же время он мучительно унижает и себя, ведь, давая такую характеристику, он, собственно говоря, сопоставляет этого подлого, низкого человека с самим собой. Как это уже было не раз в его хождениях по мукам, и теперь становится ощутимым, что хотя по своей сознательной программе, по продуманному плану он хотел стать сильным человеком и тем самым быть выше других, но, проводя свой эксперимент без убеждения, без живой идеи, осуществляя насилие над самим собой, он, в сущности, стремился только к одному: принять страдание, чтобы растворить в нем свое отчаянное личное переживание, разделить с человечеством все грехи, все муки. Поскольку ему не представилось случая для личностного, осмысленного принятия человечности, он хотел, чтобы избежать распада своей личности, не потерять ощущения идентичности, хотя бы так, безлично, разделив с человечеством вину и страдание, восстать против порядка, выразить сознание проблем и в непрерывности этого сознания сохранить свою дурную, или хорошую, какую ни на есть, человечность.

... слушай меня. Объявляю тебе, что все вы, до единого, -- болтунишки и фанфаронишки! Заведется у вас страданийце -- вы с ним как курица с яйцом носитесь! Даже и тут воруете чужих авторов. Ни признака жизни в вас самостоятельной! Из сперматозоидной мази вы сделаны, а вместо крови сыворотка! Никому-то из вас я не верю! Первое дело у вас, во всех обстоятельствах -- как бы на человека не походить! /II, 6/ Когда Разумихин говорит о страдании, о социальных, материальных заботах, об испытаниях чувств, он не признает -- так как не знает настоящей

причины страданий Раскольникова -- проблемы безыдейности. Он считает эти страдания фальшью, аффектацией, подражанием глупым прислужникам моде, оригинальничанием. Он правильно замечает, что желание во что бы то ни стало отличаться от других людей, лишает человека настоящей самобытности, возможности самостоятельного развития живой личности. Только ведь Раскольников не эпилгон, он не бежит от страдания, то, что он думает, он думает до конца и всерьез, и именно за счет принятия универсальных проблем он становится настоящим человеком. Разумихин и теперь, как всегда, абсолютизирует значение жизни, скрытых в ней возможностей. Верно, что человеку, способному воспринимать разносторонние импульсы, жизнь придает характер, но жизнь, как мы знаем, может и обесцвечивать людей, "изнашивать" их, если любовь к жизни не совмещается у них с интеллектуальной силой, со способностью не прятаться от проблем. Раскольников как раз движется в том направлении, чтобы наряду с возможностью совершенным сохранением интеллектуальных интересов обрести способность принимать опыт, предлагаемый жизнью.

... почему ты знаешь? Ты не можешь отвечать за себя! Да и ничего ты в этом не понимаешь... Я тысячу раз точно также с людьми расплевывался и опять назад прибежал... Станет стыдно -- и воротишься к человеку! /II, 6/ Раскольников принимает мудрый совет Разумихина, и не только в связи с той ситуацией, к которой он относится, но и в более широком смысле, с точки зрения более отдаленных перспектив формирования своей судьбы. Тем более, что в действительности этот совет вполне соответствует тому, что подсказывает ему его цельная натура, хотя этому совету и трудно следовать из-за возникших препятствий. Раскольников, однако, не может принять предложенную его другом непоследовательность, не останавливается на вполне удовлетворяющей того легкой самоиронии. Поэтому ему гораздо труднее, но именно поэтому он -- герой трагического масштаба.

Что ж, это исход! ... -- Все-таки кончу, потому что хочу...
Исход ли, однако? А все равно! Аршин пространства будет, --
хе! Какой, однако же, конец! Неужели конец? /II, 6/ На берегу
канала Раскольников думает о самоубийстве. Нет сомнения в том, что самоубийца всегда хочет смерти, но хочет ли ее Раскольников, удастся ли ему все свое существо полностью слить с намерением покончить жизнь самоубийством, удастся ли сделать осмысленным это свое решение? Мысль об "аршине пространства" после смерти указывает на то, что это ему не удастся, так как выдает жажду жизни, подавленную отчаянным решением, оставшуюся теперь навсегда неудовлетворенной тоску по новым и новым впечатлениям, переживаниям, опыту. Тиран-интеллект может провозглашать себя бессмертным, демонстрируя свое могущество абсолютистскими решениями, но вечность, к которой принуждает интеллект, тут же и разоблачается, так как доводящий до безумия безотрадный "аршин бытия" есть лишь искаженное изображение, злая насмешка над идеалом вечности, представленным интеллектуальным запросом полноты, безусловно включающим в себя всю полноту опыта бытия. Самоубийство -- не "исход", так как кризис, захвативший все существо героя, не заканчивается с самовольным отказом от опыта, а продолжается, будучи как бы переведенным в метафизический план и лишенным всякой надежды на какое-либо преодоление.

-- А журнал, это есть, братец ты мой, такие картинки, краше-
ные, и идут они сюда к здешним портным каждую субботу, по
почте, из-за границы, с тем то есь, как кому одеваться, как
мужскому, равномерно и женскому полу. Рисунок, значит. Мужской
пол все больше в бекешах пишется, а уж по женскому отделению
такие, брат, суфлеры, что отдай ты мне все, да и мало! -- И
чего-чего в ефтом Питере нет! --... окромя отца-матери, все
есть! /II, 6/ Городская жизнь, приемы цивилизации, пришедшие

из Западной Европы, новые впечатления, воспитывающие привычки и вкусы, и приятно развлекающие, обрушивают на человека массу информации. Стремление к наслаждению жизнью, а также усилия, направленные на удовлетворение возросших в результате утончения вкусов запросов, заботы о добывании материальных благ, -- все это разлагает пласт непосредственных личностных отношений, которые прежде были чуть ли не универсальной, абсолютной нормой. Жалоба попавшего откуда-то из деревни в город паренька относится к его временному и случайному, с точки зрения его частной жизни, отрыву от родителей, но, как это явствует из контекста, она указывает и на конфликт между формами жизни двух поколений, на трудности в их совмещении. По рассказу старшего маляра можно почувствовать как проблематично -- если даже не считаться с явными потерями, которые влечет за собой новая форма жизни, -- действительное усвоение ценностей цивилизации, формирование запросов, необходимых для должного использования новых возможностей, и вообще как еще не решен вопрос о том, насколько разумно овладение людьми, занимающимися данной деятельностью, возможностями цивилизации именно в такой форме, насколько осмысленна такая программа.

-- Бог милостив; надейтесь на помощь всевышнего о, -- начал было священник. -- Э-эх! Милостив, да не до нас! -- Это грех, грех, сударыня... -- А это не грех? -- крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего... Нас обкрадывал да в кабаке носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел! И слава богу, что помирает! Убытку меньше! -- Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня, таковые чувства большой грех! /II, 6/ Священник прав, когда хочет дать почувствовать, что бессмысленный бунт, упрямая приверженность к негативным эмоциям не ведут ни к чему хорошему, а лишь вконец опустошают лич-

ность несчастного, отчаявшегося человека, который не может справиться со своими проблемами, не в состоянии принять свою судьбу, и уже не хочет выполнять свое задание. С этой точки зрения Соня, которая понимает, видит своего отца и с ангельским смирением прощает ему все и в крайних положениях, поступает правильно. Но проповедник лишь проповедует, если устремляя взор на вечную истину, которую он представляет по роду занятий, в конечном итоге безучастно относится к судьбе семьи, оказавшейся в ужасном положении из-за слабости отца и заблуждений матери. Стихийный протест Катерины Ивановны только потому бесцелен и бессмысленен, что, поскольку она не видит социальной несправедливости, настоящего ущерба, нанесенного им, этот протест переходит в план метафизический, превращаясь в бунт против бога, и вместо того, чтобы способствовать освобождению от угнетающих ее забот, ведет к отвержению душевных и духовных обязанностей. Есть в этом поведении большая доля справедливо осужденной Разумихиным "неделовитости", привычки "жить на всем готовом", в свете уродливой логики которой всемогущий бог непременно обязан улаживать все бесчисленные дела и мелкие заботы человека. Странность этого взгляда на вещи усугубляется тем, что верующий человек, если только он не становится на парализующую его духовно и душевно позицию всепринятия, как это делает несчастная Соня, почувствовав малейшие затруднения в своих делах, тут же винит во всем божественное провидение и вместо того, чтобы искать действенные средства для устранения действительных бед, сосредоточивает свою энергию на переживания бессмысленности человеческого бытия, на отрицании "божественного миропорядка".

Соврешь -- до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру.
Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четыр-
нацать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем

роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему -- ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно; примеры были.

/III, 1/ Человек второй половины XIX века не может считать себя владеющим истиной, не может строить бытие на мышлении. Таким образом он является индивидуумом не потому, что его мысль направлена на поиск истины; не за счет этого человек становится человеком, для него гораздо более характерно "вранье", симптоматические промахи, заблуждения, так как странным образом человек, оставивший за собой право на заблуждения, принимающий риск заблуждений, может дойти до истины. Кто не хочет заблуждаться, тот ради догматической истины избегает жизни, повторяя избитые общие места, не использует возможности жизни и становления индивидуальности. Афористически сжатые высказывания Разумихина противопоставляются в тексте романа поведению Раскольникова, и герой, который в определенном отношении страстно желает жизни, но все же временно отвергает ее, может отнести их на свой счет; он поступит правильно, если примет эти предостережения, несмотря на то, что его друг, разумеется, ошибается, когда так безусловно полагается на жизнь. Замечания Разумихина вносят коррекцию в путь Раскольникова, но они все же не ставят под вопрос страстное принятие последним груза идей, тиранически завладевших его личностью, человеческое значение этого принятия как такового. Ведь хотя жизнь, как рационально не охватимый опыт, таит в себе нигде в другой сфере не ощущаемые компоненты истины, она в то же время не дает никаких гарантий достижения истины. Поэтому человек, выдвигающий заблуждения как программу, действительно очень легко может ошибиться

ся, причем потерпеть крах может не только его временный эксперимент, но может угаснуть и его страсть к поискам истины, и он может, как Мармеладов, потерять ее из виду в сфере земной жизни.

...хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да доვремся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович... не на благородной дороге стоит /III, 1/ Как бы ни была симпатична, человечна моральная терпимость Разумихина по сравнению с яркой мизантропией тех критически настроенных людей, которых он называет "тупицами прогрессивными", определения "честный", "благородный" в его устах абсолютно бессодержательны, так как то общество людей, которых он так определяет, есть собрание гетерогенное, совершенно случайное. Разумихин не знает, что если у человека нет моральной автономности и интеллектуального запроса полноты, то не от качеств индивидуума зависит, в какой мере личность отклонится от нормы, а, в конечном итоге, это зависит от жизненных случайностей; в своей доверчивости он не видит, что решение вопроса о том, на чью моральную устойчивость можно полагаться в той или иной ситуации, кого можно считать "честным" и "благородным" человеком, становится достаточно практическим, то есть, что оно абсолютно не принимает во внимание личность человека. Обаянием своей личности он во многом обязан тому, что он и не подозревает об этом мучительном положении; если и не как миллеровская "прекрасная душа", то как жизнеспособный, деятельный человек он наивно полагается на этический миропорядок. Ведь в то время, как согласно теории Раскольникова господами мира являются беззастенчивые сильные люди, согласно вере Разумихина -- что, кстати, подтверждается и действием романа -- глупые, злые люди вытесняются из жизни. В этом, разумеется, есть доля истины, этого и следует ожидать при нормальном положении вещей, но Разумихин не думает о том, что /и в такой позитивной форме эта

мысль не фигурирует в романном мире/ практику, отрицающему de facto личностные факторы, не обязательно необходимо быть ограниченным злым интриганом, то есть ему совсем не необходимо брать на себя непростительную вину сознательного отщепенства личностного фактора, что и без этого человеческий феномен может понести значительный урон, ведь практика в основе своей не враждебна, а безразлична к личностным стремлениям выработать нормы аутентичного поведения, и с точки зрения успешности этих стремлений именно эта ее безразличность, замалчивание человеческой значимости стремлений, направленных на формирование аутентичного поведения, их молчаливая неглигия, может означать действительную опасность.

...вы оба совершенно друг к другу подходите! я и прежде о тебе думал... Ведь ты кончишь же этим! Так не все ли тебе равно -- раньше или позже? Тут, брат, такое перинное начало лежит, -- эх! да и не одно перинное! Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбое основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, -- ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом! /III, 1/ Разумихин замечает, что его друг, врач Зосимов, с готовностью и самоотверженностью заботящийся о Раскольникове, любящий свою профессию, на самом деле мягкоталый, готовый отпустить живот и изнежиться, человек. В то время как Раскольников, полгоняемый запросом полноты, и даже деловитый, хотя и не пропускающий случайных возможностей повеселиться, Разумихин, в сущности аскетически настроенные люди, Зосимов в результате отсутствия должной инспирации, или пониженной внутренней потребности в моральной собранности, склонен к тому, чтобы с определенным самозабвением отдаться соблазну непосредственной чув-

ственности, которая у него лишена всякой эстетической мотивации, всякой возвышенности. Ироническая характеристика Разумихина дает почувствовать, что мещанское существование, стремящееся удовлетворить такое сознание, которое не обещает особых духовных перспектив, но в то же время предполагает определенную степень сознательности, которое не видит перед собой цели и которое испугано этой бесцельностью, пронизано желанием всеми своими проявлениями, всей своей бутафорией внушить ему чувство защищенности, застрахованности. Чем более результативно это судорожное стремление, чем более успешно удастся за счет дешевого комфорта усыпить живые и беспокойные чувства и мысли, тем оно комичнее.

Дурнушка такая... собой. Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная... Будь она еще хромая аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил...
/Он задумчиво улыбнулся/. Так... какой-то бред весенний был...
/III, 3/ Движимый желанием разделить страдания со всем человечеством, ведущий аскетическое существование и презиравший жизнь за ее бесперспективность, Раскольников испытывает влечение к больной, мечтающей об уходе в монастырь девушке. Свое влечение он, однако, впоследствии не считает настоящим, так как аскетизм, родившийся под знаком преобладания интеллекта, пренебрежение к чувственным факторам, истощение тела и души не пристали индивидууму, несущему запрос полноты, а являются лишь следствием временного кризиса. Разработка теории, отменяющей этический миропорядок, а затем плана, следуя которому он хотел сделать себя повелителем жизни, уже действительно лишает актуальности прежнее влечение, чтобы последующее затем разочарование в плане, признание проблематичности теории, дали бы ему почувствовать всю полноту гуманной проблематики.

Человек он умный, но чтоб умно поступать -- одного ума мало.
/III, 3/ Формирование действительно "умного" поведения -- зада-

ча не просто ума, подчиняющегося непосредственным выгодам, а "чистого" ума, но мы знаем, что Раскольников убедился в том, что и чистый разум не в состоянии один руководить человеком, направлять человеческий мир, и в результате этого убеждения его внимание вновь привлекает угнетающая актуальность глупого поведения, слушающегося простого ума.

-- Вообрази, Родя, на что вчера съехали: есть или нет преступление? /III, 5/ В противовес представлениям "социалистов", перекладывающих моральную ответственность с индивидуума на общественные условия, в противовес моральному релятивизму, провозглашенному в теории Раскольникова, а также применяемому обществом традиционному подходу, смешивающему юридические построения с вопросами совести, и стремящемуся придать санкцию божественной истины правовой системе, против чего собственно и восстает Раскольников, в смысловом целом "Преступления и наказания" роль, человеческое значение принятие греха, формирования сознания греховности, состоит в том, чтобы помочь сохранению цельности личности, ее гармоническим проявлениям. Хотя, как это ясно из изображения у Достоевского, никто не может создать для себя автономии в каком-то абстрактном моральном вакууме, опираясь лишь на свое моральное решение, и, более того, есть люди, личные качества которых в определенных условиях, созданных жизнью, в конечном итоге вообще не позволяют им сохранить или вернуть свою моральную целостность, все же и при таких обстоятельствах задачей каждого является попытка урегулировать проблемы совести или, во всяком случае, не позволить заглушить стремлению к обретению духовной и душевной гармонии. Ощущающий моральное отчаяние человека, его "склонность к греху", Раскольников, протестующий против отчуждения моральных вопросов от общественных, юридических целей, в своей теории, к сожалению, оспаривает человеческую значимость морали. Несмотря на его вер-

ное признание и правомерное намерение герой романа все же вынужден отрицать мораль потому, что во всеобъемлющей сфере метафизического мышления, абсолютизирующей точку зрения интеллекта, мораль и право, вопросы совести и общественные вопросы не могут быть удовлетворительно отделены друг от друга, субъективность личности не может быть в достаточной мере защищена ввиду склонности интеллекта к объективизации, и без признания имеющей самостоятельный принцип действия традиции, выходящей за пределы метафизики, то есть рассматриваемой не как всего лишь конвенция, не может быть и речи о том, чтобы, с одной стороны, признать моральный миропорядок, а, с другой стороны, принять к сведению моральную подчиненность индивидуума, не может быть и речи о личностном объединении этих двух взаимоисключающих требований.

По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству.

/III, 5/ Раскольников заблуждается, когда предполагает, что Кеплер или Ньютон для защиты или внедрения своих духовных достижений могли быть вынуждены, или были бы склонны, в какой-либо крайней ситуации убить человека. Каждый создатель настоящего духовного воплощения, чтобы достичь желаемого результата, должен отвлечься от практики, от действительности повседневной жизни, привести себя в такое состояние, при котором он так уйдет в свою работу, что кроме постижения истины -- по крайней мере на время -- он ничем другим не будет интересоваться. Практическая полезность созданного под знаком истины духов-

ного воплощения, его роль в повседневной жизни людей совсем или едва ощутимы, так что научное открытие имеет в начальный период проявляемого к нему интереса, до его широкого распространения, строго теоретический характер, стоит под эгидой общей для всех истины, и его создатель стремится добиться признания своего изобретения, его распространения, его представительства именно в этом его качестве. Если мы имеем дело с подлинными духовными ценностями, -- а не с чисто техническими открытиями, -- то не может быть и речи о "каких-нибудь комбинациях" именно потому, что те, кто и может быть заинтересован в том, чтобы ставить препятствия на пути превращения новой духовной ценности в общечеловеческое достояние, не могут вовремя опознать в нем кроющиеся для них опасности, а если это и случится, то принятые ими меры будут глупыми, так как всякое противостояние духовному воплощению, основанному на всеобщей истине, всегда глупо и, в конечном итоге, должно оставаться безрезультатным. Так же обстоит дело и с историческим деятелем, жаждущем осуществить свое призвание, который никогда не "убивает" ради осуществления своих принципов, а лишь правомерно защищается от врагов, которые не могут противопоставить никакой идеи его идее, и, подгоняемые ненавистью, вынуждены убивать своих противников. Раскольников неправильно понимает выступление ученого, делающего духовное открытие, и исторического деятеля, представляющего идею. Но он чрезвычайно интенсивно переживает свое ужасное положение, положение человека, который, не имея возможности найти и представлять настоящие идеи, создать действительные духовные ценности, все же движим отличавшим лучших представителей человечества интеллектуальным запросом полноты, и который, хотя им и руководит благородное стремление осчастливить человечество, по своим личным возможностям и по тем возможностям, которые предоставляет история развития мысли, не может чувствовать себя борцом за истину, а

лишь низким, отвратительным убийцей. Катастрофа Раскольникова вскрывает коренной аристократизм метафизического взгляда на мир, традиционно абсолютизирующего духовные факторы, но одновременно она показывает, что метафизическое мышление не может быть преодолено и с противоположной, демократической позиции, обычно -- и собственно правомерно -- противопоставляемой ему. Только мышление, ограничивающее значимость интеллекта, признающее значение метафизически не обеспеченных "чистого чувства", "чистой" деятельности, ищущее опыт бытия в традиции, может взять на себя задание снятия катастрофических противоречий между аристократической и демократической точками зрения.

... люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший /обыкновенных/, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово... первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям... Впрочем, тревожиться много нечего: масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает /более или менее/ и тем, совершенно справедливо, исполняет консервативное свое назначение, с тем, однако ж, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется /более или менее/. Первый разряд всегда -- господин настоящего, второй разряд -- господин будущего... И те, и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и -- vive la guerre éternelle... /III, 5/ Проблематика, в свете которой Раскольников

делит человечество на две категории, возникла вслед за крушением мировоззрения, представленного немецкой классикой. Немецкая классика также отличает людей друг от друга по сознательности их отношения к стоящей перед человечеством цели. Гегель отделяет исторических деятелей, у которых абсолютный дух пробуждается к сознательности, которые слышат слово абсолютно-го духа, от тех, кто остаются в состоянии опредмеченности. Гегеле же, в сущности, делит все человечество на большой и малый мир, мир Фауста и мир Маргариты, сообразуясь с тем, выходит ли человек из круга частной жизни, или же, отказавшись от создания духовных ценностей, от сознательно преобразующего общечеловеческую жизнь дела, позволяет вихрю истории промчаться мимо него. Немецкая классика, однако, не только отделяет друг от друга эти две формы человеческого поведения в соответствии с аристократической позицией, но и, придерживаясь представления гуманизма о единстве человеческого рода, соединяет их друг с другом в абсолюте при помощи метафизического идеализма. Для Раскольникова же, с точки зрения которого аристократический объединяющий принцип представляется недейственным, неспособным гармонически охватить личность, человечество неизбежно распадается на две ведущие друг с другом вечную войну половинны. Хотя в перспективе времени мировой истории, если опираться на игру понятий в метафизической конструкции Раскольникова, и можно формально оправдать войну "материала" и "собственно людей", в конкретных жизненных ситуациях, в сфере действительных человеческих проявлений разрыв между опытом и понятийным решением создает хаотическое положение, вызывает осложнения в человеческом феномене. Проблематика Достоевского оставляет для героя открытой возможность в целях удовлетворения его запроса полноты искать единства человеческого рода не в том выводимом аналитическим путем единстве, которое должно

осуществиться в конце исторического процесса, а в синтетическом, субъективном по своей природе единстве начала, что и запечатлено в "Идиоте", во втором большом романе Достоевского, созданном после "Преступления и наказания". Если Раскольников напрасно жаждет представлять все человечество, если его отчаянный эксперимент приводит к обратным результатам, и он замечает, что в разрез со своими намерениями он отчуждается от всех людей, то Мышкин, осуществляя программу приятия всех людей, прощения всем людям, вступает со всеми в личностные отношения и, отдаваясь любви, удовлетворяет свой запрос полноты. Однако, платой за это несомненное человеческое достижение Мышкина является то, что он лишается способности к автономному поведению, и за пределами проявления благородной духовной силы, в действительных человеческих ситуациях не может действительно ввести в силу моральную истину. Раскольникова, в конечном итоге, именно потребность сохранить моральную автономию предохраняет от того, чтобы для достижения душевного мира отказаться от потерявшего непосредственную актуальность наследия немецкой классики. Но одновременно это "упрямство" делает его мучеником временно переживающей кризис гуманистической традиции, превращая "Преступление и наказание" в самое значительное произведение Достоевского, в выдающееся достижение литературы нового времени.

--И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую. -- Верую, -- повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.
/III, 5/ Беспокойство матери Раскольникова о том, что ее сын не верит в бога, необоснованно, так как, восставая против этического миропорядка, он не отрицает, а ищет бога, не хочет лишиться его могущества, относящегося к самому понятию "бог", а хочет ощущать его силу, справедливость, милосердие. Вера в бо-

га, разумеется, не является уверенностью в метафизическом бытии божественной личности; это лишь метафорическое указание на то, что ввиду силы живущей в нем традиции, он может поддерживать в себе живой запрос формирования аутентичного поведения, что, несмотря на интеллектуальные сомнения, он может найти смысл человеческого существования. Вера в бога одновременно означает и то, что удовлетворение этого желания, достижение самой святой цели, зависит не только от него самого, но и от определенных, выявляющих его личные способности, факторов истории развития мысли /на языке теологии -- от милосердия Божия/, и что он, как верующий человек, заранее готов принять к сведению возможную неисполнимость "здесь и сейчас" его запроса, то есть осмыслить исполнимость своих личных желаний в эсхатологических перспективах превращения бытия в аутентичное.

-- И-и в воскресение Лазаря веруете? -- Ве-верую. Зачем вам все это? -- Буквально веруете? -- Буквально. /III, 5/ Раскольников в духе евангельской традиции верит в чудо, что означает, что и в случае осознания этой традиции, согласования ее с другими традициями и с индивидуальными знаниями у него есть возможность преодолеть односторонность, ошибочность абсолютизации интеллекта, исходящей из характерного именно для данного времени понимания программы гуманизма. Чудо, то есть принятие к сведению действительности, значимости опыта бытия, не выводимого с отвлеченной отправной точки зрения интеллекта, трансцендентного для познавательной способности, разумеется, не означает отказа от разума, не ведет к иррационализму, не влечет за собой прекращения интеллектуально мотивированной активности. Герой "Преступления и наказания", таким образом, не непоследователен, когда, хотя и верит в чудо, не основывает свою жизнь на его ожидании, когда чувствует своей

задачей взвешивать возможности и препятствия, встречающиеся на предстоящем человечеству пути. Если его стремления, предложенные решения все же противоречивы, объяснением этому служит единственно лишь то, что он с открытого для него горизонта истории развития мысли не находит способа привести в гармонию интеллект и традицию: он не в состоянии интеллектуально осветить действие традиции, ее человеческое значение, или ему не удастся увидеть и признать ограниченность значимости интеллекта, не нанеся ущерба стремлению к осмысленности. История о воскрешении Лазаря в то же время фигурирует в романе не только как одно из многих чудес, но и как чудо воскрешения тела, как чудо, прославляющее тело, наряду с душой и духом. Как признается Раскольников несколькими строками выше в разговоре с Порфирием, он верит в "новый Иерусалим", во всеобщую справедливость, которая должна воцариться в конце истории, и ни за что не согласится, как платоник, отвергать этот мир, отвергать тело, принадлежащее по мнению платоника к миру теней. Подчинение тела /и души/ интеллекту, своеобразный аскетизм героя, применимы лишь к тому вынужденному положению, которое, по его мнению, создает история для людей, стремящихся к конечной точке истории, к грандиозной и светлой цели человечества. Противоречие между теперешним, практическим отрицанием тела и его относящимся к будущему, принципиальным признанием также указывает на то, что Раскольникову не удалось урегулировать отношения между интеллектом и традицией.

Ведь это разрешение крови по совести, этот.. это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное... /III, 5/ Проливать кровь со спокойной совестью не только непозволительно, ужасно, но одновременно и невозможно, поэтому, если мы будем понимать каждый элемент этой формулы дословно, то практически становится излишним этого опасаться.

Кто только защищается в сознании своей правоты, и может сказать с более или менее чистой совестью, что он никому не желал смерти, тот, в конечном итоге, не "проливает кровь". Там же, где во время исполнения какого-либо кровавого замысла не раздаётся голос морального протеста, нельзя говорить о "спокойной" совести, поскольку отсутствуют угрызения совести. Возражение Разумихина свидетельствует о том, что в его мышлении вопросы совести и вопросы общественно-практические, которые, действительно, в конечном итоге абсолютно не отделимы друг от друга, недифференцированно смешиваются друг с другом. С одной стороны, в тревоге он думает, что освященное законом действие устраняет проблемы совести, освобождает человека от обязанности отчета перед своей совестью, с другой стороны, он предполагает, что суверенное, спиритуально мотивированное индивидуальное начинание делает заранее излишним поиск юридических обеспечений, исключает закон. Эти два фактора не дифференцируются абсолютно и в мышлении Раскольникова, разрабатывающего свой план, в мышлении человека, который, не имея исторического призвания, чувствует себя побуждаемым к историческому действию, или, как он иронически говорит, слабого человека, воображающего себя сильным, но в его теории эти две сферы и не совпадают. В соответствии с его конфликтным, трагическим видением он полагает, что общество в конце концов не беспомощно по отношению к самозванным великим людям /"...общество ведь слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, котормами, -- чего же беспокоиться? И-и ищите вора!" /III, 5/, великий же человек не обязательно должен быть чудовищем: "Пусть страдает, если жаль жертву... Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца" /III, 5/.

Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... /III, 6/ Противопоставление принципа и закона сделало ощутимой для Раскольникова разницу между интел-

лектом и традицией, но оно по-прежнему указывает и на их неосмыслимую для него двойственность. Хотя он оказался прав в том, что принятие порядка при данном проблемном состоянии истории развития мысли интеллектуально не оправдано, все же закон, сохраненный традицией -- несмотря на сомнительность его интеллектуальной оправдываемости, -- сохраняет свою действительность. Метафизические решения, предложенные немецкой классикой, -- как историко-философская система Гегеля, так и разработанное Кантом описание действия категорического императива, -- потеряли свою действительность, но неизменными все же остаются "звездное небо над нами" и "моральный закон в нас".

О, ни за что, ни за что не прошу старушонке! /III, 6/ Как и всякого другого человека, как своего "ближнего" Раскольнику следует любить и убитую им топором старуху. Условием освобождения от тяжести преступления могло бы стать смягчение неприемлимой ненависти, которую он к ней питает. Юноша, однако, -- вполне правомерно -- не желает спасти себя любой ценой; как человек, гонимый жадой веры, запросом осмысленности, он и теперь не хочет в целях обретения душевного спокойствия примириться с несправедливостью человеческих отношений, с бессмысленностью, царящей в мире, то есть не желает мириться со старухой, в которой он видит, в связи с открывшимся ему проблемным положением, символ несправедливости и бессмысленности. Конечно, это гордость, но это вовсе не глупое, раздутое тщеславие, а поведение человека, знающего себе цену и желающего сделать действительными представляемые им ценности.

Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!... Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал? ... /III, 6/ В то время как бездушная старуха в определенной мере "заслуживает" свою судьбу, несчастная Лизавета, безусловно, является невинной жертвой. Раскольникова, все же, мучает

воспоминание именно о старухе, так как его ненависть была направлена в полной мере на нее, и его борьба с этими воспоминаниями осмысливается им как борьба с темными силами, воплотившимися в ней. Кроткая Лизавета как бы уже в самый момент своей смерти простила убийцу, старуха же его не отпускает, и, насылая на него мстительных Эриний угрызений совести, доказывая непоколебимость миропорядка, его устойчивость по отношению к любым индивидуально-личностным усилиям, одерживает над ним победу.

...что ж тут, во всем этом, в самом деле, такого особенно преступного с моей стороны, то есть без предрассудков-то, а здраво судя? /IV, 1/ С инстинктивной прозорливостью, с хитрым расчетом, или с сознательным цинизмом Свидригайлов попадает как раз в самую болезненную точку: он приводит в замешательство и ожесточение раздраженного и нервного молодого человека, когда, подобно Раскольникову, называет моральные нормы предрассудком, и в то же время использует этой свой тезис для оправдания недостойного преследования Дуни. Во всем этом особенно оскорбительно то, что теория на вид у него та же самая, но в устах Свидригайлова она приобретает совсем другой смысл, так как личность, которая ее применяет, совсем другая. Возможность такого рода поразительных или пугающих переосмыслений изложенных тезисов указывает на относительную действенность интеллектуально обоснованных теорий и на значимость, наряду с интеллектом, и личностной проблематики.

--... изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку или в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем питал, да еще думал обоюдное счастье устроить! ... -- Да совсем не в том дело, -- с отвращением перебил Раскольников, -- просто-

запросто вы противны, правы ль вы или не правы, ну вот с вами и не хотят знаться, и гонят вас, и ступайте!... /IV, 1/ Когда Свидригайлов, ухватившись за интеллектуальную неразрешимость моральных диллем, бесстрастно обсуждает свое сугубо-личное дело, он обнаруживает мертвенность своей моральной сущности, болезненность своей чувственной жизни, распад своей личности. Раскольников абсолютно прав, когда не желает принимать участия в этой игре, когда дает понять своему назойливому гостю, что для продолжения интеллектуальной дискуссии есть определенные условия, которым Свидригайлов не отвечает. Свидригайлов -- чудовище, и мы утверждаем это не потому, что нам удалось разрешить выдвинутую им дилемму, а потому, что он вообще выдвинул такую дилемму, потому, что он в состоянии так холодно взвешивать этот касающийся его личности, непосредственно на его личность направленный вопрос. Его предложение, которое с чисто формальной точки зрения может показаться безупречным, именно потому и нечестно, что оно возникает исключительно как одна из принципиальных возможностей, что он ни на минуту не отождествляется по-настоящему со своим планом, не в состоянии поставить на него свою экзистенцию. И не потому, что он эгоистически, расчетливо бережет себя, а потому, что будучи рабом своих сладострастных желаний, он безответственно рискует как своей личностью, так и личностью другого.

-- Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили? -- грубо перебил Раскольников. -- А вы и об этом слышали?... Ну, насчет этого вашего вопроса, право, не знаю, как вам сказать, хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. /IV, 1/ Свидригайлов, душа которого поражена болезнью, не имеет представления о том, что значит спокойная совесть человека, которым движет вера, убеждение, который пронизан со-

знанием выполнения своего долга, и который в то же время открыт для мира и для всех его проблем. Если он спокоен, то только потому, что уже не действует тот моральный иммунитет, который, если и не всегда может уберечь человека от неприемлемых желаний или действий, все же бурным протестом дает им должную характеристику. Омертвление совести, утрата защитного рефлекса, есть начало того процесса спиритуального распада, который приводит его к последнему безразличию, к мучительному отвращению ко всему существующему и к себе самому.

... господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно ... что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные "немки", что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто не посмотрел тогда на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-с так! /IV, 1/ Тирада Свидригайлова выставляет в смешном виде односторонность сентиментальной филантропии, которая, исходя из мысли об исконной доброте человеческой природы, с наивной некритичностью считает устойчивым фундаментом добрые намерения "честных, простых людей". За определенной чертой применимость принципов, которые должны послужить основой интеллектуального обоснования "прогрессивных" устремлений, становится сомнительной ввиду того, что они всегда таят в себе -- и это естественно -- определенный элемент некритичности /несмотря на провозглашенную критическую программу/, так как безусловно полагаются на "темные" творческие глубины силы воображения. История, обсуждаемая иронически, призвана указать на то, что нормы поведения, выработанные интеллектуальным путем, жизнь по определенным принципам превышает человеческие возможности и что иногда неизбежны нарушения этих принципов, которые на данном этапе истории

развития мысли являются очень даже понятными, или как говорит Ницше, "человеческими, очень даже человеческими". Однако, эту "настоящую гуманную" точку зрения из-за противоречивости, заключенной в ней самой, едва ли можно представлять; отказавшийся от принципов и не умеющий по-новому обосновать гуманность человек не может ссылаться на гуманность, так как, потеряв сознание идентичности, он обречен на судьбу Свидригайлова. Представляя определенные элементы аристократической ментальности и насмехаясь над узостью строгой плебейской морали, Свидригайлов безусловно расширяет горизонт видения, его взгляд на вещи безусловно более "широк", чем взгляд Разумихина, и даже, в определенном отношении, чем взгляд Раскольникова, но провозглашение "широкости" в качестве программы указывает на то, что, несмотря на весь свой цинизм и скепсис, и он не свободен до конца от иллюзий по отношению к возможностям интеллекта, так как -- если и не со страстной принципиальностью, то с какой-то методической беспринципностью -- он все же считает, что достижение полноты бытия может быть целью индивидуальных усилий человека.

За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтоб, а вот заря занимается, залив, Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грусто. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других гланишь, а себя оправдываешь. /IV, 1/

К аристократическим чертам в поведении Свидригайлова относится его гедонизм, эстетизм, пристрастие к факторам чувственной культуры. Однако, его современную /не античную/, ищущую вечного и бесконечного натуру не может удовлетворить исключительность, автократия красоты, которая вызывает в нем чувство бесцельности, бессмысленности, скуки и неустраимой -- так как она идет изнутри -- беспричинной печали. Аристократическая тра-

диция наслаждения искусством и меценатства^а, выработанная мышлением Нового времени, объединила средневековый опыт невозможности обосновать человеческий феномен эстетически и опыт безусловной человеческой ценности красоты, когда признало, что любитель и покровитель искусства может за счет аристократического сознания своей ответственности выйти из мира самодовлеющей красоты, созерцаемого совершенства, и, как бы выполняя универсальную человеческую миссию, "передавать" этот мир другим слоям общества, удовлетворяя тем самым свой запрос полноты. Эстетизм же Свидригайлова, ввиду измельчания ролей, лишен аристократической ответственности, и этот проявляющийся в модели его поведения недостаток он карикатурно возмещает характерной для плебеев, стремящихся к свободе, критикой общества, "во всем других винит". Не вызывает сомнений, однако, что сознание комической половинчатости своего решения, циническое рефлексирование на свое "самооправдание", все же указывают на "широкость" аристократического сознания, способного без предрассудков принять "все человеческое".

-- Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. /IV, 1/ Гедонизм Свидригайлова, отсутствие у него аристократического сознания ответственности мотивированы не только, и не столько, морально или социально /разумеется, не может быть и речи о том, что в романном мире Достоевского вообще отсутствуют моменты моральной или социальной ответственности/: это явление получает, прежде всего, метафизическое объяснение. Разочарование Свидригайлова, так же как и катастрофа Раскольникова, делает ощутимой неприемле-

мость такого мышления, которое исходит из фикции безусловности интеллекта. Конечными являются не только интеллектуальные возможности человека, а конечны и возможности интеллекта как такового, и потому метафизическое понятие божества, наделенного в отличие от человека бесконечными интеллектуальными возможностями, всемогущего и вечного, пребывающего вне времени и пространства, ведет к абсурду, так как оно не в состоянии обеспечить осмысленности бытия, гармонического проявления человеческого феномена. Свидригайлов вполне логично представляет себе конечной и закрытой эту невыносимую, поскольку она не может придать смысл человеческому существованию, дурную бесконечность. Правда, герой Достоевского не философ; этот играющий циничными двусмысленностями персонаж не прилагает ни малейших усилий для того, чтобы преодолеть свою раздвоенность, выйти из круга своего частного существования, вызывающе основывает всю свою мудрость на своем ограниченном опыте. Однако, в конце концов, кто из читателей может взять на себя всю ответственность за то, чтобы, вслед за Раскольниковым, исключить Свидригайлова из числа людей, и, не приняв во внимание этот, так сказать, из ряда вон выходящий пример, или же посчитав его распадающуюся личность приемлемой жертвой с точки зрения великой цели, искать, идя по этому пути, всеобщего блага человечества. Этот распущенный провинциальный помещик в концепции Достоевского не какое-то случайное явление, с которым можно не считаться, или, тем более, он не просто искушающий человека черт, которого доброго люди стараются как можно скорее прогнать; Свидригайлов -- носитель определенной части человеческого феномена, отказ от которой наносит урон полноте, необходимой с точки зрения выработки норм аутентичного поведения.

-- Нет, вы вот что сообразите... -- назад тому полчаса мы друга еще и не видавали, считаемся врагами, между нами нере-

шенное дело есть; мы дело-то бросили и звона в какую литературу заехали! Ну, не правду я сказал, что мы одного поля ягоды? /IV, 1/. Автономный Раскольников прогоняет злого соблазнителя своей сестры, как только тот заводит речь о девушке, однако необычный гость все же привлекает к себе его внимание, когда речь заходит о таких вопросах, которые выходят за рамки конкретных жизненных ситуаций. Все это вполне естественно, ведь Раскольников не практик и не ригорист, чье поведение определяется лишь этическими принципами; интеллектуальный запрос полноты заставляет его без всяких колебаний принимать импульсы, идущие из самых разных источников, и он не считает заранее неприемлемыми даже доводы "отвратительного" черта - Свидригайлова. Его партнер, разумеется, пытается именно с этой интеллектуальной стороны подорвать его моральную устойчивость. Открытость Раскольникова, несмотря на безусловно тающий в ней риск, не только не ошибка, а единственный способ сохранения человечности, избегания лживых, фальшивых размежеваний. Для Раскольникова непрощенная навязчивость Свидригайлова, его цинически вызывающие сопоставления, означают моральную муку, но может ли Раскольников считать эти попытки сближения абсолютно неправомерными, необоснованными, и в качестве таковых категорически их отвергнуть?

...не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое... - Нимало. После этого человек человеку на сем свете может делать одно только зло и, напротив, не имеет права делать ни крошки добра, из-за пустых принятых формальностей. Это нелепо. /IV, 1/ Свидригайлов правильно подчеркивает интеллектуальную неопределимость личности, до самой смерти длящуюся "незаконченность" человека, бесконечные возможности "падений" и "оправданий". Но, как всегда, он, ввиду своей аморальности, применяет общий тезис к Такой конкретной жизненной ситуации, к которой тот неприменим, намеренно не при-

нимает эту ситуацию во внимание. Автономный Раскольников правильно решает отказаться от его великодушного предложения при сложившихся условиях, и по отношению к этому решению мы должны считать вторичной и не отражающейся на этом решении теоретическую возможность добрых намерений Свидригайлова. Этим предполагаемым добрым намерениям придаст достоверность его будущее самоубийство, которое выразит вынесенный им самому себе приговор, когда он, увидев, что он не способен к последовательному осуществлению своих намерений, поймет, как может сделать достоверным свое благое намерение человек, слову которого нельзя доверять.

Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая! /IV, 4/ Для Сони любовь, безусловное чувственное приятие людей, является таким духовным фактором, за счет которого она может достигнуть определенной спиритуальной независимости от ужасных жизненных обстоятельств, с помощью которого она может защитить целостность своей личности. Поэтому она всеми силами оправдывает и чувственно безусловно принимает своих родителей, виновных по отношению к ней. Соня верно оценивает страсть Катерины Ивановны к справедливости, ее чистое сердце, но под влиянием преувеличенно высокого запроса любви, принуждающего ее провозгласить любовь абсолютом, она не принимает во внимание, что истерические ребяческие искания справедливости, предопределяющие поведение ее мачехи, являются ее главной слабостью и причиной многочисленных заблуждений или непростительных поступков. Именно поэтому она послала Соню на улицу и подвергла слишком сильным испытаниям моральную стойкость и без того слабого и ждущего любовного понимания Мармеладо-

ва. На отсутствие у нее моральной силы указывает и то, что доводя и себя до сумасшествия своим безумным поведением, она никогда не оказывается способной признать свои заблуждения, не только не корректирует их, но даже и не осознает того, что она делает. Признание ошибок, допущенных Катериной Ивановной, вовсе не обязательно должно уменьшить привязанность к ней Сони, ведь у человека, способного к аутентичному поведению, то есть у человека автономного и в то же время признающего границы автономии, любовь и признание заблуждений любимого существа вовсе не исключают друг друга.

-Нет! нет! Не может быть, нет! - как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. - Бог, бог такого ужаса не допустит!... - Других допускает же. /IV, 4/ Соня, которая для того, чтобы обеспечить своим любимым кусок хлеба, принесла неоправданно большую жертву, не будучи в состоянии представлять интеллектуальный запрос полноты, судя по ее поступкам, в сущности ведет себя так, будто она считает бога обязанным заботиться о благе людей в этом мире. Хотя глубокое чувство собственной вины предохраняет ее от того, чтобы фаталистически считать свое состояние полной униженности относящимся к самой природе вещей и принимать раздраженные тирады своей мачехи за выражение божественного откровения, все же кажется, что когда она не желает даже предположить, что полный распад семьи может произойти несмотря на принесенную ею жертву, то это угрожает ее рассудку. Но, как это раскрывается перед стремящимся проникнуть в тайну поведения девушки Раскольниковым, Соница вера в чудо, соединенная с сознанием вины, способна обеспечить целостность личности этой несчастной девушки. Мы знаем, что Раскольников и сам верит в чудо, однако в его мышлении, в его поведении, поскольку они мотивируются задачей представительства запроса полноты, то есть потребностью интеллектуального видения смысла миро-

вого порядка, вера в чудо, укоренная в традиции, непосредственно не может проявить себя. Встреча с Соней, с этой греховной, но безусловно верящей в возможность душевного и телесного воскресения человека девушкой, возникновение между ними личностных отношений потому и становится для Раскольникова таким особым переживанием, что оно открывает возможность, чтобы его полная понимания помощь стала бы чудом в жизни другого человека, потому что это переживание способствует актуализации его скрытой веры в чудо. Раскольникова Соне, так же как и Соне Раскольникову, воистину "бог послал", так как проблемы каждого из них, равно как и таящиеся в мучительном переживании ими этих проблем человеческие возможности, до сих пор были для другого совершенно неизвестны, находились вне интеллектуального кругозора каждого из них.

Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети - образ Христов: "Сих есть царствие божие". Он велел их чтить и любить, они будущее человечество... - Что же, что же сделать - истерически плача и ломая руки повторяла Соня. /IV, 4/ Хотя сознание собственной вины и вера в чудо и в крайних ситуациях поддерживают в Соне идентифицирующее сознание, целостность ее личности, эта несчастная девушка не автономна, у нее нет побуждений для представительства интеллектуального запроса полностью, и она не может разобраться в пугающих ее вопросах, во встающих перед ней проблемах. Конечно, она беспокоится за своих близких, приходит в отчаяние от подстерегающих их опасностей, но поскольку она не признает ответственности своих роди-

телей за создавшееся катастрофическое положение, она не в состоянии его объяснить, интеллектуально бессильна перед демоническими внушениями Раскольникова. Как человек, который не понимает самого себя, который не знает, что она стала жертвой совершенного против самой себя преступления не только из-за материальных условий, но и потому, что уступила душевному принуждению, создавшемуся по вине ее родителей, она не может объяснить Раскольникову бессмысленность, ошибочность его скрытых под ораторскими вопросами предложений. Соня от чистого сердца любит своих родных, но она не сделает для них ничего такого, что ей не позволяет сделать ее совесть, то есть что ей не предписывает ее излишняя, ущемляющая автономность ее личности, зависимость от них.

За границу поляк убежит, а не он... В глубину отечества убежит, что ли? Да ведь там мужики живут, настоящие, посконные, русские; этак ведь современно-то развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить, хе-хе! /IV, 5/ Порфирий Петрович указывает на "беспочвенность" Раскольникова, этого молодого интеллигента, перенявшего западные идеи и в должной мере не считающегося с условиями своей страны. Не имеющий почвы интеллигент, сам того не зная, приспособливает пришедшие с Запада принципы к своему особому русскому взгляду на вещи, но в то же время такая спонтанная адаптация воспринятой идеи, более или менее случайное приспособление ее к собственному сознанию не может его вполне удовлетворить; в результате в исключительных русских условиях очень быстро становятся ощутимыми пределы идеи, те границы, за которыми она уже не действует. Таким образом, экспериментирующий с применением идей герой "витает" между европейскими духовными течениями и своей домашней действительностью, в конечном итоге он, к сожалению, оторван и от идеи, и от действительности, лишен возможностей как упорядоченного,

гармоничного, интеллектуально-корректного объяснения своей духовной позиции, так и ее действенного, аутентичного использования.

...Остроумие, по-моему, великолепная вещь-с; это, так сказать, краса природы и утешение жизни, и уж какие, кажется, фокусы может оно задавать, так что где уж, кажется, иной раз угадать какому-нибудь бедняжке следователю, который притом и сам своей фантазией увлечен, как и всегда бывает, потому тоже ведь человек-с! Да натура-то бедняжечьего следователя выручает-с, вот беда!... Зеркало натура, зеркало-с, самое прозрачное-с! Смотри в него и любуйся, вот что-с! /V, 5/. Рассуждающий о взаимоотношениях ума и натуры Порфирий Петрович выражает надежду на то, что его "психология" может быть сильнее, успешнее, чем "математика" Раскольникова, так как в отличие от стремящегося к максимальному рациональному контролю, не считающегося с конечностью человеческого разума противника, он хочет поставить на службу своим целям и не познавший себя бессознательный дух, природу. В свете концепции Достоевского, однако, не природа призвана одержать победу над индивидуумом, придающим интеллекту сверхчеловеческое значение, так как и природа является лозунгом того придающего интеллектуальности абсолютного значения сциентического мышления, неприемлемость которого доказывается смысловым целым художественного произведения, стремящегося вовлечь в сферу человеческого феномена трансцендентную для познавательной способности традицию.

- Что такое "благороднее"? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. "Благороднее", "великодушнее" - все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Все, что полезно человечесеству, то и благородно! Я понимаю только одно слово: полезное! Хихикайте как вам угодно, а это так! /V, 1/.

Лебезятников был бы абсолютно прав, если бы он утверждал только, что Лужин не имеет права произносить такие слова, как "благородный", "великодушный", однако он вообще отрицает человеческое значение спиритуального фактора. Причиной этого немыслимого утверждения и вытекающих из него многочисленных смешных выводов Лебезятникова является то, что, поскольку он не имеет никаких инспираций, его ментор, Лужин, полностью ограничивает его интеллектуальный кругозор. Разумеется, мы знаем в свете дилеммы Раскольникова, что отрицание человеческого значения спиритуальности имеет определенную актуальность в истории развития мысли, и Лебезятников именно поэтому обладает проблемным сознанием, чувствует себя компетентным в дискуссии, касающейся больших, всеобъемлющих проблем человеческого бытия. Не имея действенной идеи, будучи не способным гармонически представлять запрос полноты, Раскольников также не может в создавшемся положении интеллектуально обосновать свое поведение, но в результате личностной автономии и мотивированности к представительству запроса полноты он признает недостатки своего поведения и, имея шансы на успех, приступает к их устранению. У попавшего в плен таких взглядов, которые не имеют никаких связей с его личностью, и потому разбросанного, бестолкового Лебезятникова же нет почти никаких возможностей понять комичность своего глупого поведения и перестать играть унижительную роль шута.

Внушите этой глупой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд... /V, 3/. Катерина Ивановна бьется в тисках пошлости. Обстоятельства сложились так, что она попала в среду, которая не признает - потому что по-настоящему не знает - запросов интеллектуально и чувственно образованного, обладающего тонким вкусом человека, и не только не способна соответствовать этим запро-

сам, но даже насмехается над ними, когда они бывают выражены. Морально сломленная Катерина Ивановна теряет всякую выдержку, она уже не способна к тому, чтобы в сознании своего более высокого развития взять на одну себя тяжесть преодоления культурного разрыва между собой и окружающими ее людьми, и когда она, вербально провозглашая свое "благородство", оскорбляет других и тем самым навлекает оскорбления и на себя, она, как говорится, и сама начинает "по-волчьи выть", постепенно приспособливается к окружающим и, ссорясь с ними, собственно опускается до их уровня.

Лужин... .. если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А? - Да, - сказала она слабым голосом, - да! - повторила она, рассеянно и в тревоге. /V, 4/ Раскольников не намерен и еще не в состоянии признать "чудо", которое означает их встреча, и все произошедшее объясняет случайностью. Нет сомнения в том, что в сложившемся неприемлемом положении, вследствие полной неупорядоченности в человеческих делах, случайность становится господином положения, и может произойти действительно много ужасных вещей. Но против той непоколебимой решимости, с которой Соня и Раскольников берут на себя страдание, с которой они становятся опорой друг для друга, случайность бессильна, и если в жизни людей такое поведение действительно осуществится, не приведет ли это когда-нибудь к тому, что бессмысленная случайность вообще вытеснится из жизни, не приведет ли это к осмысленности человеческого существования?

...если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю. /V, 4/ Перед нами опять модель отвлеченной крайней ситуации, подсказанная интеллект-

туальной проблемой волюнтаристского действия, мнимой неизбежностью совершения преступления во имя счастья человечества. Но кто же создаст такое положение, которое само собой едва ли может возникнуть с такой непреложностью, а если и возникнет, кто же может с полной интеллектуальной компетентностью решить, что упомянутая дилемма на самом деле существует как реальность? Если же речь идет просто о том, что Лужин покушается на жизнь Катерины Ивановны, и у кого-либо есть возможность предотвратить покушение, что же может помешать ему в том, чтобы будучи автономным существом, зная, что он должен предпринять, он остановил убийцу? Совершенно очевидно, что эти излишние запутывающие положение псевдопроблемы создаются мышлением, придающим интеллекту абсолютное значение, и потому не способным разобраться в человеческом феномене. Как точно здесь возражение Сони! - "Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? - с отвращением сказала Соня... - Да ведь я божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?..." Человек только тогда может быть человеком, только тогда может, как гуманист, сохранить личностную гуманность внутри европейской традиции, если он верит в осмысленность бытия и в историческое осуществление осмысленности бытия, на языке традиции - в "божественное провидение". По отношению же к историческому процессу превращения бытия в осмысленное попытки решить последние вопросы человечества исключительно интеллектуальным путем представляются излишними и бессмысленными.

...ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? /V,
4/ Раскольников не в состоянии рационально осознать, что он ошибся, у него нет и не может быть - поскольку он обладает

проблемным сознанием - идеи, то есть он не может в деле отчета перед своей совестью положиться на интеллектуальное самосозерцание, не может считать сознание вины внутренним делом суверенного индивидуума. В то же время вполне правомерный интеллектуальный запрос полноты должен требовать от него, чтобы он, очистившись от вины, освободившись от ее груза, оставался бы способным представлять полноту. Его трагедия, причина взятых им на себя неизмеримых страданий состоит в том, что, хотя это двойное требование не может быть выполнено на открытом для него горизонте истории развития мысли, он в конечном итоге никогда не снижает своих запросов, остается до конца верным двойному требованию освобождения от вины и достижения полноты. Соня, личностные отношения с ней, необходимы ему для того, чтобы без утраты здравого смысла, без надлома своей личности он смог бы противопоставить стремлению к рациональному пониманию истины требование сохранения моральной целостности. Раскольников знает, что в первую очередь не Соня, а он нуждается в раскаянии, но он не может осмыслить это интуитивное знание, и потому ему легче разобраться в своих вопросах, если он хотя бы на время припишет другому потребность в покаянии, сделает представителем парадоксальной логики раскаяния такого другого человека, у которого, несмотря на его полное принятие сообщества с другими людьми, рефлексы рационализма не расходятся с голосом совести, с моральным опытом.

- Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зло-
вредную. - Это человек-то вошь! - Да ведь и я знаю, что не
вошь... /V, 4/ Навязчивой идеей рационалиста, ощущающего границы своей модели поведения, является такое положение, при котором можно было бы вынести абсолютное решение, крайняя ситуация. Старуха-процентщица - "вошь" в том смысле, что кажет-

ся, будто она занята только удовлетворением своих материальных потребностей и лишена всяких духовных и интеллектуальных человеческих ценностей. Если бы это было действительно так, если бы можно было вынести последний и абсолютный приговор живой личности, то и в этом случае бесполезность существования старухи нельзя считать доказанной даже и на основании этого спиритуального по своему характеру приговора. Деятельность старухи-процентщицы как необходимый элемент практики может быть неотчуждаемой частью человеческого феномена. Бунтующий Раскольников, однако, видит лишь связывающий его запрет, но осмыслить его при занимаемой им позиции не может.

А старушонку эту черт убил, а не я... /V, 4/ Дело, совершенное без убеждения, без веры, без идеи отчуждается от своего носителя, но если бы Раскольников принял это отчуждение к сведению как неизбежный факт, он отказался бы от попыток восстановления единства своей личности; таким образом, если он и не мог принять самого себя для того, чтобы представлять свое намерение, он все же должен был хотя бы принять свое действие впоследствии, ведь в сознании своей вины, в добровольном принятии на себя всей ответственности открывается возможность достижения внутреннего единства. В признании власти "черта" мы должны видеть тот характерный для мышления Нового времени опыт, согласно которому сохранение интенсивности морального чувства в конечном итоге нужно считать задачей, превышающей интеллектуальные возможности индивидуума. Напрасно Раскольников был автономным существом; когда он на опыте ощутил практику и следовал запросу интеллектуальной полноты, то есть когда он вышел из пределов спонтанно возникающих жизненных ситуаций, голос категорического императива перестал руководить его решениями, и надежда на достижение духовной и душевной независимости существует для него лишь потому, что он, имея в своем распоряжении традицию, с одной

стороны, принимает "первородный грех", безличное сообщество с существующим человечеством, а, с другой стороны, готов представлять задачу формирования аутентичного поведения.

Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: "Я убил!" Тогда бог опять тебе жизнь пошлет. Пойдешь? Пойдешь? /V, 4/ Раскольников один не может справиться со своими проблемами, он должен разделить их с Соней, но у Сони нет возможности простить ему его вину, она только может сказать - поскольку это позволяют сделать их личностные отношения, - что он должен сделать для того, чтобы освободиться от груза своей вины. Поскольку вина имеет не только интеллектуальную природу, она не может быть снята всего лишь словом в сфере личностных отношений. Вина, если понимать ее в ее катастрофической сущности, подрывает основы бытия, замутняет "колодезь жизни". Именно поэтому Раскольников и должен выйти на перекресток к не имеющим с ним никаких душевных или духовных связей людям, к равнодушной и безличной толпе, которая, как это показывает случай с Мармеладовым или с Катериной Ивановной, скорее склонна к тому, чтобы насмехаться и стыдить человека, чем к тому, чтобы с сочувствием и любовью понять его. Он должен поцеловать землю - символ всеобщего и предшествующего всяким сознательным размышлениям существования, от которой он, совершив свое дело, отошел, чтобы вновь почувствовать смысл своего уединенного, сознательного существования, чтобы снова жить.

Потом еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее поцелуй! - А выдержит эта или не выдержит?... - Нет, не выдержит; таким не выдержать! Этикие никогда не выдерживают... - И он подумал о Соне. /V, 5/ Счастливо освободившаяся от притязаний соблазнителя -

Свидригайлова и избежавшая роковых последствий своего жертвенного плана Дуня постепенно оказывается вовлеченной в светлый мир доброго, но несколько ограниченного, не имеющего проблем Разумихина. К миру людей, считающих - в силу счастливого стечения обстоятельств в их судьбе - действительность автономного поведения безусловной, Раскольников относится с подозрением, такой мир ему чужд. Как человек, который знает, что преступление и страдание являются в силу неаутентичности бытия неотчуждаемыми элементами человеческого феномена, и который неспособен интеллектуально осветить с данного историей мысли горизонта этот опыт, он видит человечество разделенным на две неспособные понять друг друга части, считает пропасть, образовавшуюся в данный момент между ним и сестрой, непреодолимой.

- Что? Священника?.. Не надо... Где у вас лишний целковый?
... На мне нет грехов!... Бог и без того должен простить...
Сам знает, как я страдала!... А не простит, так и не надо!
... /V, 5/ Полупомешанная Катерина Ивановна сама не знает,
что она говорит. Произнесенные ею с титанической гордостью слова, обращенные к богу, так же неправомерны в ее устах, так же не соответствуют ее положению, как и речи о ее благородном происхождении, произнесенные при ссорах с соседями. Ей очень и очень необходимо прощение, необходимо, чтобы кто-нибудь снял с нее невыносимый груз ее загубленной, бессмысленной жизни. Ей нужно было бы признать, что и она была виновной, что она легкомысленно покинула родной дом, вручила свою судьбу недостойным людям, и часто несправедливо изливала свою горечь на мужа и падчерицу, с глупой, смешной заносчивостью похвалилась перед свидетелями своей нищеты светлыми воспоминаниями о прошлом. При этом, однако, не вызывает сомнений, что ее наивная страсть к правдоискательству отно-

сится к самым привлекательным чертам ее личности.

- Э-эх! Человек недоверчивый! - засмеялся Свидригайлов. -
Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто,
по человечеству, не допускаете, что ль? Ведь не "вошь" же
была она /он ткнул пальцем в тот угол, где была усопшая/,
как какая-нибудь старушонка процентщица. Ну, согласитесь,
ну "Лужину ли, в самом деле, жить и делать мерзости, или ей
умирать?" И не помоги я, так ведь "Полечка, например, ту-
да же, по той же дороге пойдет..." Он проговорил это с видом
какого-то подмигивающего, веселого плутовства, не спуская
глаз с Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел,
слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. /V, 5/
То, что Раскольников принял сообщество с человечеством в страдании и преступлении, то, что он признал свою принадлежность к человечеству в целом не только в духе личностной программы гуманизма, а принял и независимую от сознательной воли, предшествующую ей безличную причастность к роду человеческому, сообщество в "первородном грехе", дало возможность Свидригайлову почувствовать, несмотря на всю уродливость его натуры, свою человечность. Полемизируя с теорией Раскольникова, но в полном соответствии с открывшимся перед молодым человеком после убийства опытом, он спрашивает: неужели же и в самом деле не существует какой-либо связывающей всех людей человечности? Представляющееся само по себе искусственным композиционное решение, согласно которому Свидригайлов подслушивает разговор Раскольникова с Соней, становится органическим и содержательным компонентом концепции Достоевского, ведь проникновение Свидригайлова в тайну Раскольникова не ведет действие по пути произвольного усложнения интриги. В конце концов тот факт, что Раскольникову приходится услышать свои собственные сло-

ва из уст другого, пробуждает в нем не только страх разоблачения, но и чувство отвращения и ужаса от того, что интимное признание вышло из естественного круга, что непосвященные люди насмеются над ним, и впридачу очень трудно оспаривать относительную правомерность таких насмешек. Права, как видно, Соня: тайну невозможно и не должно держать в частной сфере, каким-то образом она касается и других, частное существо человека в определенном отношении принадлежит не только ему, а отчасти и всем остальным. Интимное личностное признание и открытое признание вины в полной мере неотделимы друг от друга. Открытое покаяние Раскольникова, несколько облегчая его положение, начинается еще до принятия им окончательного решения.

А насчет Миколки ... он вроде как бы художника какого-нибудь. Невинен и ко всему восприимчив. Сердце имеет; фантаст. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходятся слушать... А известно ли вам, что он из раскольников, да и не то чтоб из раскольников, а просто сектант; у него в роде бегуны бывали, и сам он еще недавно, целых два года, в деревне, у некоего старца под духовным началом был... Да куда? просто в пустыню бежать хотел! Рвение имел, по ночам богу молился, книги старые, "истинные" читал и зачитывался. Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино. Восприимчив-с, и старца, и все забыл. Известно мне, его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел! /IV, 2/ Функцию медиатора между демоническим духом главного героя и, скажем, приземленной беспроблемностью Настасьи, служанки квартирной хозяйки Раскольникова, выполняет образ добровольно и безвинно принимающего на себя обвинение в убийстве помощ-

ника маляра Миколки. Для этого мальчика осталась совершенно чуждой система мышления нового времени, он ничего не знает о задаче совмещения интеллектуального запроса полноты и личностного переживания идентичности, неизбежной и обязательной для каждого цивилизованного человека, но он уже вышел из состояния духовной и душевной бессознательности, он уже хочет решать спиритуальные вопросы самостоятельно, не прибегая к традиционным авторитетам. Поскольку его обостренная интеллектуально-чувственная восприимчивость, ввиду власти над ним нерасчлененной народной жизни и отсутствия рациональной упорядоченности впечатлений, не может найти пути к реальностям текущей вокруг него жизни, он хочет "пострадать", приняв страдание, дать место своему накопившемуся интеллектуальному потенциалу. В то время как Раскольников бьется в тисках безличного интеллекта, "логики" и "математики", не способных придать смысл своим механическим действиям, и полагает, что у него нет права любить, так как ум якобы заранее запрещает любить, или же любовь не выводима из разума, для способного беспрепятственно слушаться своей интуиции Миколки любовь - единственный абсолютный закон жизни. Но несмотря на явное различие в программе, разница между студентом, обладающим ложным сознанием, но по существу направляемым потребностью принять сообщество со всем страдающим человечеством и потому принуждающим себя к убийству, и учеником маляра, желающим принять вместо него положенное ему наказание, не такая уж большая.

Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел /VI, 2/ Радикализм Раскольникова, его упрямая последовательность проистекают не из

ограниченности, характерной для посредственности, а из молодой неопытности и, одновременно, из свежести его чувственной жизни, его морального существа. Если по неопытности, а также в результате обостренной моральной чувствительности теория так быстро завладела им, это в определенной мере можно считать удачей в его беде, так как за такое короткое время это не могло нанести серьезного ущерба его чувственной и моральной восприимчивости. Он получил возможность сопротивляться своей теории, перед которой он, несмотря на свои высокие духовные качества, оказался беззащитным, сумел выработать необходимый для преодоления скрывающийся в ней опасности иммунитет лишь за счет того, что на время позволил ей овладеть собой, за счет того, что учился на собственном горьком опыте, то есть, изжив теорию, опробовав ее, он приобрел необходимый для защиты гуманности опыт - признание ошибочности, бесчеловечности следования только одним теориям.

Мужик убежит, модный сектант убежит - лакей чужой мысли, - потому ему только кончик пальчика показать, как мичману Дыр-ке, так он на всю жизнь во что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите, - с чем же вы убежите? /VI, 2/ Мышление нового времени одновременно удовлетворяет и запросу спиритуальной самостоятельности, и дает возможность с помощью личностных решений дать опирающееся на индивидуальное видение объяснение явлениям жизни. Несущий же запрос спиритуальной самостоятельности, но не способный включиться в цивилизованную жизнь, следующий догматическим учениям сектант становится "лакеем чужой мысли". Находящийся в плену своей безжизненной, безличной теории Раскольников также становится пленником чуждого его живому существу учения, но не потому, что он еще не достиг уровня мышления нового времени, а потому, что он ощущает пределы общепринятого формирования

личностных решений, основанного на интеллектуальном видении, ограниченность веры во всемогущество идей. Урок, полученный им в ходе его катастрофического эксперимента, убеждает его в том, что если познавательная способность и не дает достаточных основ для ориентации в последних вопросах человеческого бытия, то все же в поисках новых решений нельзя без ущерба для человечности отказаться ни от требования интеллектуальной освещенности принятых решений, ни от запроса спиритуальной самостоятельности. /Интеллектуальная обоснованность какого-либо решения, а также интеллектуальная освещенность полученного решения есть, конечно, две разные вещи; последнее требование можно осуществить и в случае бессмысленности интеллектуальной обоснованности/

- Ну так что ж, ну и на разврат! Дался им разврат. Да люблю, по крайней мере, прямой вопрос. В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с годами, может быть, не так скоро заляешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде? /VI, 3/ Раскольников возмущают рассуждения порочного и циничного Свидригайлова, но он вынужден принять к сведению, что с помощью плоского морализирования он не может освободиться от представляемой его собеседником человеческой проблемы. Страдающий как и он сам от отсутствия идеи, как и он не находящий личностного решения Свидригайлов, хотя и другими путями, но все же параллельно с его попытками, ищет суррогатного решения. В то время как Раскольников надеялся найти твердые основы в интеллекте, потлагался на "фантазию", Свидригайлов думает, что он найдет в чувстве не затронутые произвольными умозрениями "природные факторы". Поскольку же фикция мышления нового времени, которая экспериментирует с естественной, научной обоснованностью

человеческого феномена, стала неприменимой, и о ее неприменимости и Свидригайлову известно, его попытки не обещают результатов. Именно поэтому он и говорит о них с таким усталым цинизмом.

Нет ничего в мире труднее прямотушия, и нет ничего легче лести. Если в прямотушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним - скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия; хотя и с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно, по крайней мере, половина кажется правдой. /VI, 4/ Со своей аристократической позиции Свидригайлов иронически относится к мешанской иллюзии о том, что универсальная истинность бытия и его осмысленность непосредственно открываются или могут открыться в индивидуальном существовании каждого человека в соответствии с приложенными моральными усилиями. Но образ циничного и распадающегося Свидригайлова одновременно указывает и на то, что подход к вопросам с аристократической позиции, безусловное предпочтение приятной лести, по сравнению с ограниченными по своим возможностям прямотушнем, ни в коем случае не оправданы, так как и то, и другое имеет свою частичную осмысленность. Проблема, однако, проистекает из того, что по существу аристократический, известный по гетевскому "Фаусту", способ нахождения верных масштабов двух точек зрения, уравнивания малого и большого миров, в свете опыта, раскрывающегося в "Преступлении и наказании", уже со всей очевидностью перестал быть актуальным.

..разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, - имея ввиду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде, - не наслаждение да еще при таких обстоятельствах и такому человеку, как я... Разжигает. - Ну, если

так, - даже с некоторым удивлением ответил Свидригайлов, рассматривая Раскольникова, - если так, то вы и сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознать много можете, много... /VI, 4/ Непрекращающийся конфликт между запросом полноты и собственным естеством служит для Раскольникова неисчерпаемым источником нового опыта. Этот богатый, расширяющий его кругозор, делающий индивидуальное значимым его существо и рассеивающий основанные на предвзятых иллюзии опыт, конечно, может восприниматься циником и как "материал". Но раскольниковская модель накопления опыта, в противовес "свободной от предубеждений" открытости гонимого за наслаждениями, скучающего Свидригайлова, являются и самым удачным способом сохранения, восстановления свежести, гибкости, духовного и душевного здоровья его личности.

Русские люди вообще широкие люди, ... широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности. /VI, 5/ Любимая формула Достоевского - "широкие люди", указывает на восприимчивость к опыту, превышающему сферу интеллектуальной обоснованности, у человека с таким мировоззрением, с таким мышлением, которое еще не вовлекло традицию, возможности, открытые опытом бытия, в решение встающих перед ним проблем, чтобы осветить их интеллектуально. Широкость души и отсутствие традиции связаны друг с другом таким образом, что /см. замечание Свидригайлова: "У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет..." /VI, 5/ данные национальной культурой, действующие как рефлекс, особенности взгляда на мир в случае их совпадения с практикой "благотворительно" скрывают тот опыт, который может разоблачить отнесенность этого согласия, его зависимость от определенных условий. В русской культуре, где по наблюдению Достоев-

ского такое совпадение еще отсутствует, осознается, и, ввиду своей неосмысленности, вызывает ощущение катастрофы опыт, который показывает, что задачи удовлетворения спиритуальных запросов индивидуума и гармонического приведения в действие цивилизации могут звучать в унисон. Такой недостаток определенным образом является и большим достоинством, так как ощущение катастрофы ускоряет, предуготовливает преодоление прежнего, основанного на теории познания, взгляда на вещи и способствует формированию новых способов мышления, в основе которых лежит теория бытия, то есть подготавливает признание равноценной с интеллектом, независимой от него, имеющей свой принцип действия традиции, как выявления опыта бытия.

А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большой шельмой может быть со временем, когда вздор по-выскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ - подлецы. /VI, 6/ То, что Раскольников "шельма", является результатом его "широкости", интеллектуального запроса полноты. Однако, этому качеству не дает развиться элементарное - действующее помимо его воли - стремление сохранить ощущение идентичности. Свидригайлов же, в котором это стремление давно угасло, и который уже почти отпал от традиции, называет этот ограничивающий сознательные стремления фактор "вздором". Этот перегоревший сластолюбец, сравнивая с собой борющегося за формирование своей личности и подвергающего в этой борьбе себя опасностям молодого человека, считая свой собственный путь неизбежным, видит в нем своего духовного наследника. Как это недавно сделал герой, обвинив самого себя, циничный Свидригайлов теперь клеветает на него, когда говорит, что тот, не обладая силой прислушаться к голосу ума, подло "слишком уж" хочет жить. Он не понимает, и не может понять, что Раскольниковым движет не просто неудовлетворенная слепая жажда жизни, а что в его случае жажда

жизни может быть лишь средством: надеждой на достижение относящейся к бытию полноты.

Странно и смешно: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной признак! Спорить тоже не любил и не горячился - тоже дурной признак! /VI, 6/ Отказавшийся от личностных целей и заботящийся с какой-то "просвещенной" бесстрастностью лишь об удовлетворении чувственности гедонист Свидригайлов, который ни с кем, и даже с самим с собой, не вступает в чувственное сообщество, не только не может любить, но становится неспособным вообще к каким-либо эмоциональным реакциям, в том числе и к ненависти. Его чувственная парализованность - безусловно, "дурной признак", но с его стороны это только фиксирование фактов: именно из верности его определения следует, что у него нет силы изменить свое поведение.

Параллельность образов Свидригайлова и Раскольникова делает особенно ощутимым, сколько живых человеческих ценностей - несмотря на безусловную вредоносность - таят в себе мучительные порывы главного героя, его смертельная ненависть, заполонившая сердце, толкнувшая его в конечном итоге на волюнтаристское выступление, на убийство. Как бы ни было ужасно то, что произошло с Раскольниковым, перед ним остается открытой возможность развития, и таким образом то, что в своей фактичности ужасно, в отношении будущего можно считать "добрым признаком".

...опять образ Дунечки появился перед ним... он два раза успел бы схватить ее, а она и руки бы не подняла в защиту, если б он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему... /VI, 6/. Чистая, умная и страстная Дуня даже и в больной душе Свидригайлова вызывает какое-то живое чувство. Очевидно он решается на самоубийство потому, что стыд за свое покушение

против девушки, полное отчуждение от нее, даже и ему вынести не под силу. Но когда он идет к ужасному концу, он возможно принимает его не с полной безнадежностью, не как "погибшая" душа, ведь определенную границу он все же не захотел перейти, он все же сжалился над своей несчастной жертвой за когда-то полученное от нее понимание.

Эта девочка была самоубийца - утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшее и удивившее это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшее последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер... /VI, 6/. Описание несчастной жертвы Свидригайлова вызывает перед читателем образ жертвы Раскольникова, бессердечной старухи-процентщицы. Убийство человека - преступление, а старуха была человеком, хотя в заблуждении убийца и хотел считать ее "вошь". Преступление Раскольникова не менее тяжко, чем преступление Свидригайлова, ведь намеренное лишение им жизни старухи, желание ее смерти не менее запрещены заповедью "не убий". И все же главный герой находится в более легком положении, так как он пошел на убийство, не цинично отрицая мораль, а запутавшись в проблеме морального долга, в которой интеллект не может разобраться. Именно поэтому он избрал жертвой такого человека, который всю жизнь отрицал значение морали, значение индивидуально-личностных усилий, и который таким образом не может предъявить своему убийце моральных упреков. Поэтому, если Раскольников увидит свое заблуждение, признает свою вину, он сможет вернуться к жизни. Но как может освободиться Свидригайлов от укоризненного взгляда своей невинной, еще с наивной доверчивостью обращающейся к миру и к людям,

жертвы?

А, сигнал! Вода прибывает, - подумал он, - к утру хлынет, там, где пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи...

/VI, 6/ Вода, ощущение сырости мучают готовящегося к самоубийству Свидригайлова. В нем зарождается ужас перед жизнью, отвращение к своему физическому существованию. "Ужас и презрение" к самому себе испытывает и Раскольников, принужденный к своему безобразному начинанию, но он хотя бы способен облечь в слова презрение к самому себе, у него есть сила интеллектуально выступить против самого себя. Острая эмоциональная реакция и ее вербальная артикуляция приводят в действие такой механизм моральной защиты, который препятствует тому, чтобы распад личности перешел в вегетативный план, моральное презрение превратилось бы в физическое отвращение и, будучи свободным от всякого сознательного контроля, беспрепятственно бы двигалось к своей кульминации.

Стало быть, ты в жизнь еще веруешь: слава богу, слава богу! - Раскольников горько усмехнулся. - Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться. Это бог знает как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю. /VI, 7/ Если прежде Раскольников, повинувшись своей идее, думал, что он знает, как складываются человеческие отношения, и за свою неудачу, следуя указке своей теории, называл себя "слабым" человеком, то теперь он делает шаг вперед, когда порвав со знанием, парализующим гуманность, признав узость перспектив интеллектуализма, хотя бы понимает, что "ничего не понимает", то есть обретает способность воспринять опыт, передаваемый традицией.

Да, чтоб избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня, но подумал, уже стоя над водой, что если я считал себя до

сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь...

- Это гордость, Дуня? - Гордость, Родя. - Как будто огонь
блеснул в его потухших глазах; ему точно приятно стало, что
он еще горд. /VI, 7/ Волюнтариста Раскольникова чистая лю-
бовь ведет к признанию необходимости осознать свою виновность,
спасает от последнего распада. Но не существовало бы того,
кого надо спасать, не было бы у него сил принять протянутую
руку помощи, если бы не было у него самоуважения, гордого
сознания собственной ценности, то есть того качества, которое
в конечном итоге при сложившихся обстоятельствах толкнуло его
на постыдное убийство.

- А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды? - спро-
сил он с безобразною усмешкой, заглядывая в ее лицо. - О,
Родя, полно! - горько воскликнула Дуня. /VI, 7/ Разумеется,
Раскольников испугался воды, подобно тому как боится ее Свид-
ригайлов, но когда он отказался от самоубийства, он не от-
ступил перед ней, а спасся от нее, не принял свой ужас, а
никак не мог избежать его, как это было и со Свидригайловым.
Если человек требует от себя таких личных качеств, как сме-
лость, гордость, то непоследовательно считать трусостью
принятие позитивно неулавливаемых личностью, направленных
в бесконечность целей, принятие жизни. Дуня дает почувство-
вать именно это, когда находит мучительные сомнения брата
абсолютно излишними.

- Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю,
для чего я иду предавать себя... Но, проговаривая последнее
восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Ду-
ни, и столько, столько муки за себя встретил он в этом взгля-
де, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки
сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же
причиной... /VI, 7/ Последовательно представляющего запрос
полноты Раскольникова невыносимо мучает то, что он не может

сделать понятийно выразимым явный опыт греховности, то есть, хотя он пережил человеческую недейственность своей теории, ее интеллектуальная действенность не пошатнулась. Как бы близки ему ни были Дуня, мать или Соня, и как бы ни было очевидно для него, что нельзя бессмысленно причинять им боль, один только этот частный чувственный фактор не может быть достаточным ориентиром его поведения. Разумеется, он не может идти дальше по тому пути, на который он вступил, и теперь он ведет себя так, как будто он осознал, что совершил преступление, но до тех пор, пока он не в состоянии увидеть, как складываются человеческие проблемы на уровне истории, общества и личности, его ищущий дух не может успокоиться.

...а приготовлен ли я к тому?Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно! К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить?

/VI, 7/ Нет, Раскольникову не нужно страдание, но он вынужден вынести страдание. Мистическая сила страдания, очищающего душу, о которой говорит эпилог, и в которую верит Соня, не подтверждается всем смысловым целым романа. Нужно было бы, чтобы Раскольников увидел взаимозависимость между интеллектом и традицией, между личностно-индивидуальными усилиями и практикой, и тогда он мог бы ориентироваться в человеческом феномене, но для героя, берущего на себя представительство гуманной проблематики в целом, потому неизбежно страдание, что на данном уровне в истории развития мысли это еще невозможно. Мистифицирование страдания - это такое заблуждение, которое абсолютизирует, в противовес абсолютизации интеллекта, значение традиции, что в не меньшей мере, за

определенной чертой задерживает движение истории мысли, чем интеллектуализм Раскольникова.

О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого! А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать-двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? /VI, 7/ То, чего жаждет Раскольников, не обязательно "преступное" демоническое желание. В его положении, когда в результате кризиса интеллектуализма стала ощутимой невозможность интеллектуального обоснования традиции, по-человечески очень понятно желание вернуть прежнее положение, при котором еще не было ощутимо противоречие между интеллектом и традицией. Эллинистический мудрец - стоик, эпикурец и скептик - не отвергал выполнение заповеди любви к ближнему, а, в отличие от позднейшего универсализма, ограничивая свое мышление закрытым космосом, и не заботясь о мире бесформенной материи, о хаосе, считал своей единственной осмысленной задачей индивидуальную заботу о миропорядке, о гармонии. Однако, расширение кругозора - процесс исторически необратимый, и Раскольникову, как человеку своего времени, приходится находить равновесие в новом положении. Раскольников прав: если бы он никого не любил, и, добавим к этому, никого не ненавидел, и если бы временное угасание любви и ненависти, полная безучастность не сделали бы его открытую для бесконечности, жаждущую полноты современную душу болезненно равнодушной к делам всего мира, тогда всего, что с ним случилось, не было бы. Но тут уж ничем нельзя помочь, и даже и не нужно этого делать.

Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так, .. странною. О от-

рицатели и мудрецы в пятак серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге! /Эп. 2/ Правда, Раскольников не способен разобраться в делах всего мира, и как об этом говорится в эпилоге романа, несмотря на искренние искания, "в убеждениях своих" он предчувствует "глубокую ложь", но при данных историей развития мысли и пока еще считающихся имеющими силу премиссах проблемы не могут быть осмыслены по-другому, если только человек с трусливой непоследовательностью не остановится "на полдороге". Несчастный молодой человек, у которого нет возможности поставить определенный предел своим взглядам на вещи, в полной мере вынужден почувствовать противоречие между имеющими силу формами мышления и человеческими проблемами, недостаточность первых для охвата вторых. Поскольку нелепость нельзя считать без всяких оговорок достоинством, совершенно правомерным оказывается со стороны уважающего роль интеллекта человека требование, согласно которому, если уж она не отторжима от человечества, то не следует принимать ее слепо, в разрез со всяким разумом, что должна быть возможность ясно и определенно увидеть с точки зрения истории развития мысли относительное значение "нищеты духа".

В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ... Раскольников ясно замечал и их ошибку. /Эп. 2/ Непросвещенные заключенные живут традицией, и потому они "знают" много важных вещей, о которых не имеют представления их образованные товарищи, ссыльные поляки, политические преступники, оторвавшиеся от традиции, или же регулирующие

отношения между традицией и интеллектом с помощью какой-либо ограниченной, не подходящей для данной ситуации аргументации. Когда Раскольников не презирает толпу заключенных, он учится в соответствии с требованиями гуманности в данной ситуации ценить наряду с интеллектом и традицию. Если он так смотрит на своих товарищей, то он уже не думает, что "консервативная толпа" - лишь материал в руках бунтарей-одиночек, творящих историю по интеллектуальному усмотрению, не делит человечество на две категории, и если он и не находит согласия между народом и интеллигенцией, он все же, двигаясь в правильном направлении, ищет путей смягчения противоречий между ними.

- Ты барин! - говорили ему. - Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело. /Эп. 2/ Пытаться обеспечить действительность справедливости силой-действительно, не "барское дело", ведь в цивилизованных обществах верхний класс считает своей задачей соблюдение форм и в интересах успешного исполнения своей роли обосновывает и занимаемую им общественную позицию интеллектуально. Интеллектуальное обоснование государственного устройства, абсолютизация значения формы, однако, хотя оно и необходимо на определенном этапе истории, за определенной чертой становится невозможным. Поднимающий топор во имя справедливости и уже не верящий в возможность достижения справедливости исключительно интеллектуальным путем Раскольников ощущает отжитость разделения людей на народ и господ, на веховых и вехующих. Когда он, следуя своей теории, хочет добиться власти силой, он радикально осмысляет новый опыт в пределах еще имеющей силу системы мышления, пытается применить тезис об интеллектуально обоснованном первенстве вехующих вне его исторической действительности. Когда же он отказался от осуществления своего плана и, не отказываясь от запроса интеллектуальной полноты, признал роль трансцендент-

ной по отношению к интеллекту традиции, то есть принял наказание, предусмотренное законом, каторгу, разделяемую им с массой заключенных, он своим личным примером показал непрременную необходимость достижения согласия между интеллектом и традицией уже на новых основах, путем личностно-индивидуального взвешивания.

- Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! - кричали ему. -

Убить тебя надо. - Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника... /Эп. 2/

Живущий традицией, но наряду с традицией не несущий никакого интеллектуального потенциала, в сущности не затронутый цивилизацией народ считает своим заклятым врагом отрицающего традицию - поскольку он чувствует непримиримое противоречие между традицией и интеллектом, но еще не находит способа вывести это противоречие - интеллигента. В этом сложившемся в истории развития мысли проблемном положении народ, как "богоносец", а интеллигенция, как "безбожники", оказываются друг против друга, и их противостояние заслоняет собой тот факт, что в конечном итоге обе стороны неправомерно присвоили себе проблему бога, проблему полноты. Лишенный интеллектуальных возможностей народ, однако, не в состоянии понять, что и сам Раскольников является жертвой истории, и что он, чтобы искупить свою вину, добровольно принял страдание, общество с ними "во имя бога". Напрасно он пытался бы, видя их гнев, под влиянием их протеста следовать путем Сони - уподобиться им; проблема, которая существует вне него, независимо от его личных решений не перестанет существовать и в случае его "обращения". Поскольку заключенные не знают этого, Раскольников и в их обществе оказывается одиноким, но он одинок не демонически, не бессмысленно, а - за них, за других - в духе какой-то для него самого еще отчетливо несформулированной программы.